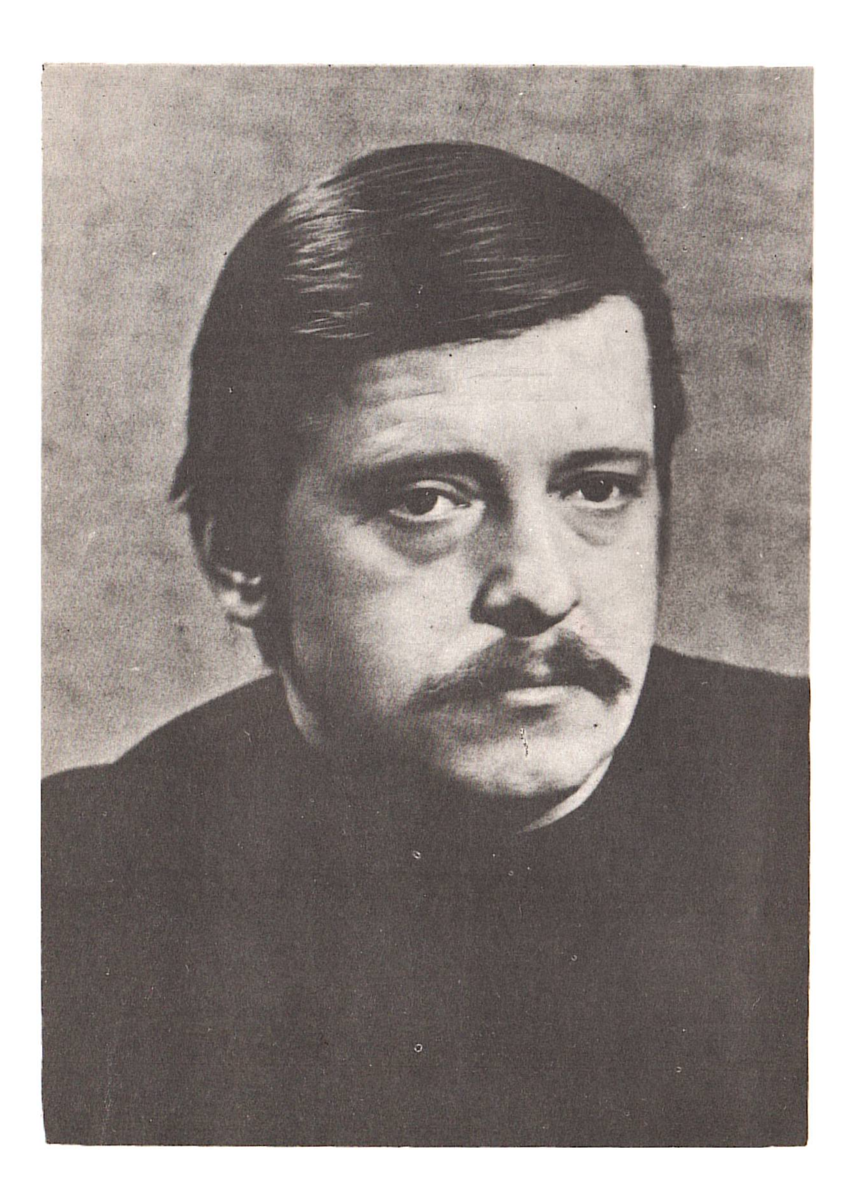
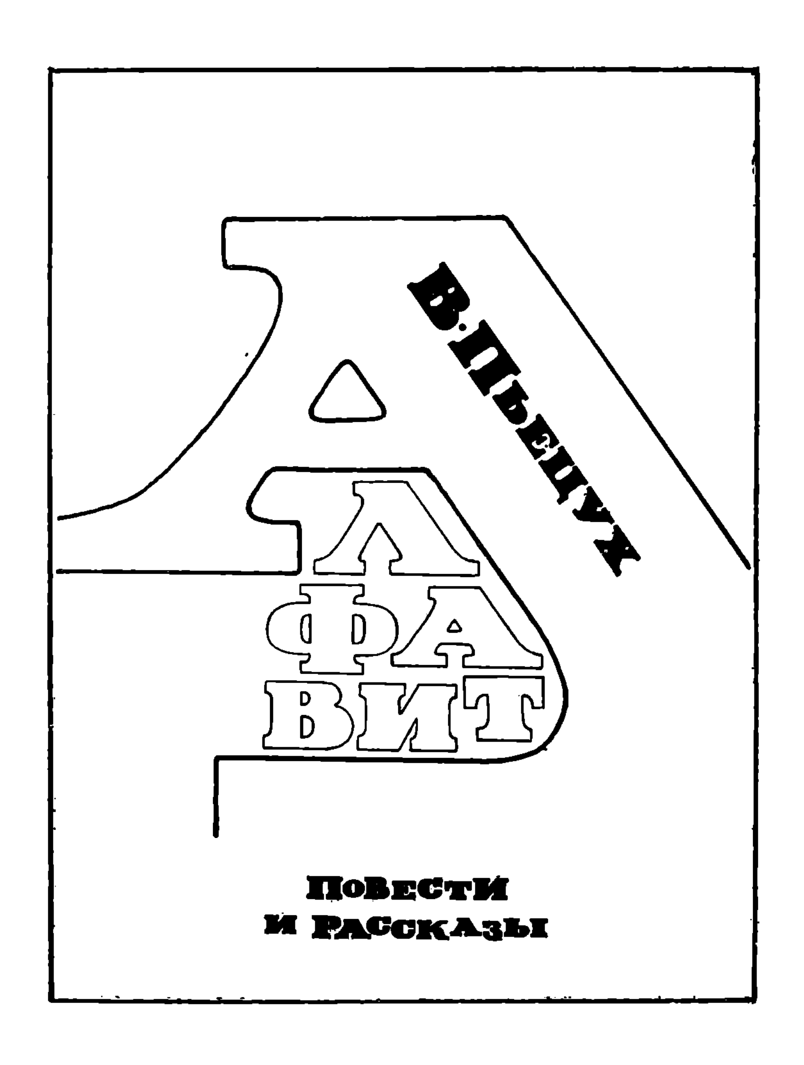

В. ПЬЕЦУХ
Л
ФА
ВИТ





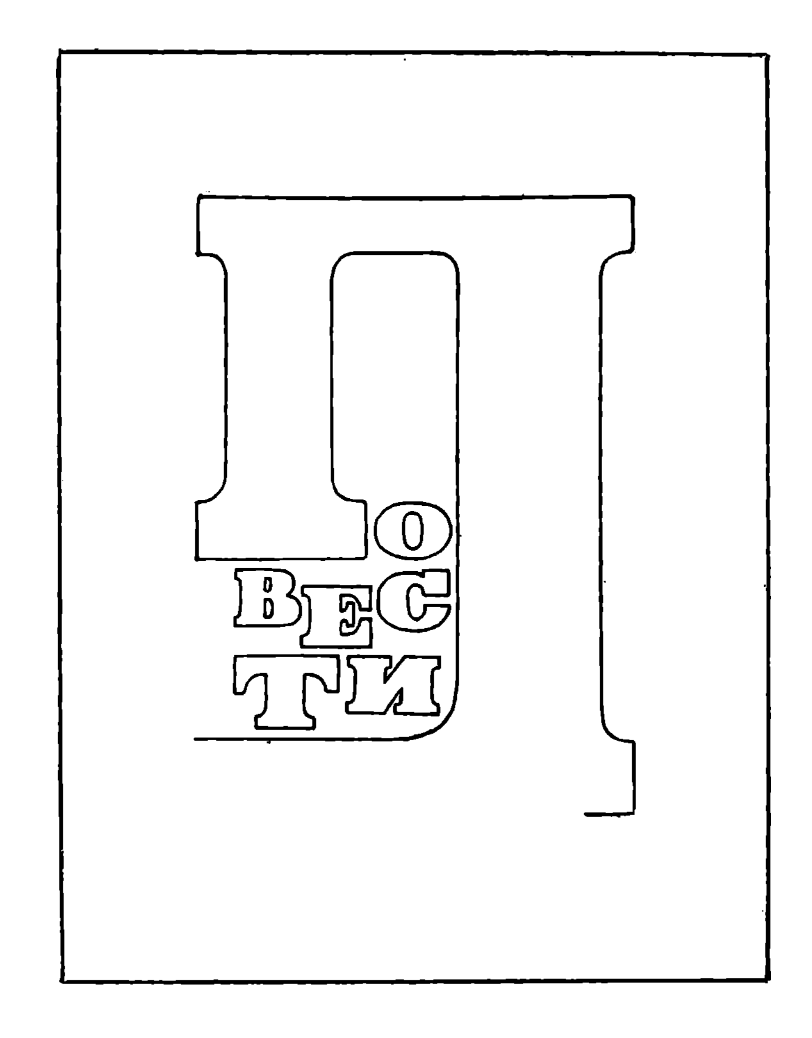
МОСКВА. СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. 1983

«Алфавит» — перзая книга молодого автора, успевшего привлечь внимание читателя и критики публикациями рассказов в журналах «Сельская молодежь», «Литературная учеба» и др.

Герои В. Пьецуха, в прошлом школьного учителя, — обычные наши современники, жители небольших городков и поселков. В каждом таком обычном человеке автор ищет и находит необычное, вместе с читателем встречает героя в критический момент жизни, когда обстоятельства или выношенная, накопленная внутренняя решимость бросают человека на неожиданный, иногда кажется, нелепый поступок. Нет людей рядовых и одинаковых — с этой главной идеей и предстает перед читателем молодой автор.

Художник ОЛЕСЯ САХАРОВА

П $\frac{4702010200-058}{083(02)-83}$ 32—83


П
О
ВЕС
ТИ



АЛФАВИТ

1

Я болен. Давеча мне приснилось сырое мясо, и, ясное дело, проснувшись, я почувствовал: точно, болен. В голове у меня туман и позвякивание колокольчиков, в пальцах нервозность, а в животе ощущение бесконечности, которая то и дело сжимается до размеров макового зерна. Поскольку я человек вообще нездоровый, я до крайности мнителен. Мысли мои досадны. Я сижу на кухне, держу под мышкой термометр и поглядываю в окошко. Я сижу и думаю, думаю...

В одном русском городе — умолчу, в каком именно, — живет человек, которому сорок лет с хвостиком. Если спросить этого человека, осталось ли у него в жизни какое-нибудь заветное желание, то он ответит, что ему хотелось бы высказаться. Зовут этого человека Александром Федоровичем, фамилия — Воробьев. Это я.

Можно сказать, что я без малого прожил жизнь, много чего повидал на своем веку, как порядочный часовщик, съевший собаку на своем деле, я отремонтировал так много часов, что их с избытком хватило бы гражданам какой-нибудь не особенно перенаселенной державы. Но в то время, как моей жизни остается совсем огарок, в чем, будучи болен, я нисколько не сомневаюсь, мне стало казаться, что я чего-то не понимаю. Это «чего-то» представляется мне настолько фундаментальным, что при мысли об упущении мне неизменно бывает жутко. Мне жутко оттого, что я, можно сказать, без малого прожил жизнь и не понимаю в ней чего-то такого, без чего

эта жизнь теряет всяческое значение. Поэтому временами мне чуть ли не до истерики нужно бывает высказаться, то есть рассказать во всех тонкостях о своей жизни и о себе. Мне почему-то кажется, что вот я выскажусь и мне полегчает. Я, главным образом, надеюсь на то, что по ходу дела мое недоумение прояснится, но даже если ничего по-настоящему не прояснится, я соглашаюсь высказаться из той единственной выгоды, что мне полегчает.

Я многое мог бы порассказать. Начать с того, что я родился в ночь с воскресенья на понедельник. Как мне описывали впоследствии, в самую минуту моего рождения на дерево, росшее у нас под окном, села ворона и каркнула, а во дворе обвалился коммунальный сарайчик, в чем все увидели недобрые предзнаменования. Однако ничего особенно несчастливого в моей жизни так и не произошло и, я думаю, вряд ли произойдет. Когда вам за сорок, всякое несчастье приобретает законную силу и, стало быть, перестает быть несчастьем в обычном смысле этого слова.

Мне рассказывали, что младенцем я был чрезвычайно уродлив. Месяцев до семи по мне ходили какие-то лишаи, и мои родители полагали, что просто так это дело не обойдется. Действительно, вскорости меня поразила пупочная грыжа, за нею последовало жестокое воспаление легких, потом желтуха, но я оказался живучим, как таракан; хотя это все-таки удивительно, как мне тогда удалось выкарабкаться. А что, если бы я не выкарабкался и мои сорок лет с хвостиком средней величины остались бы не прожитыми? От этой мысли меня пробирает судорога, и я благословляю жизнь, какая она ни есть, я ее благословляю как таковую.

Первое мое воспоминание до того преждевременно, что меня обыкновенно обвиняют во лжи. Тем не менее я действительно помню собственные крестины. Крестили меня двухмесячным. Всем поголовно такая памятливость

кажется невероятной, мне же, напротив, странно, что всем это кажется невероятным. Я, например, не помню последнего десятилетия своей жизни, но это удивляет только меня одного.

Обряд моего крещения совершался в маленькой белой церкви, стоявшей на площади, которая когда-то была необозримой и пугала меня пространством. Недавно я посетил эту площадь. Она оказалась маленькой, захолустной, и я прослезился. Кстати сказать, церковь давно снесли, теперь на ее месте разбит газон с овальными клумбами, которые до того идут площади, что я подумал — может, никакой церкви и не было вовсе? — и заодно усомнился в своем первом воспоминании. На самом деле: я не всегда могу поручиться, что это воспоминание, а не что-нибудь вычитанное или виденное во сне. Вообще я имею удивительную наклонность к сомнению, которая доставляет мне серьезные неудобства.

Чаще всего мои сомнения носят праздный характер. Вот сейчас, например, я перевожу взгляд чуть правее и вижу свое отражение в самоваре. На меня глядит человек, который улыбается под Джоконду и строит глазки. Лицо у него такое, что можно легко усомниться в том, что он когда-то был маленьким. Я смотрю на свое отражение и сомневаюсь. А между тем на этот счет у меня есть вещественное доказательство: крестильная сорочка, которая хранится в стенном шкафу. Она пошла пятнами, вышивка по воротничку, некогда голубая, вылиняла в какую-то серенькую, но, главное, эта рубашечка так мала, так мала, что, разглядывая ее, я недоумеваю: неужели я когда-то в нее влезал? Словом, сомнения мои вздорны, но мне хотелось бы знать: откуда у меня это? От скуки, от неглубокого ума или это у меня возрастное?

Вообще я питаю предвзятое отношение к прошлому. Воспоминания в мои годы составляют существеннейшую сторону внутренней жизни, и это тем более неприятно,

что размышления о минувшем навевают мне нехорошее, неловкое чувство. Я думаю, это объясняется тем, что я не понимаю значения прошлого и представления не имею, к чему вообще его отнести. По этой причине мне часто кажется, что в прошлом существовал не я, а какой-то совсем другой человек. Когда я, скажем, рассматриваю свои детские фотографии и вижу себя на трехколесном велосипеде или просто в матросском костюмчике и с дурацкой улыбкой, которую мне, вероятно, велели изобразить, мне кажется, что я не имею к этому мальчику никакого отношения, что это просто какой-то мальчик, капризный и, надо думать, большой шалун. Тогда меня подмывает погрозить ему пальцем и сказать какое-нибудь не особенно бранное слово. Редко-редко когда во мне что-то пошевелится.

Первые годы жизни я провел в небольшом двухэтажном доме, стоявшем по улице Луначарского под номером 23. Дом был бревенчатый, с каменной лестницей, с парадным, в котором пахло пылью и кошками, и с черным ходом, в котором пахло отхожим местом. Когда-то очень давно этот дом принадлежал Василисе Трифовне Казнинской, старушке, которая по экспроприации занимала две комнаты на втором этаже, единственные во всем доме застеленные паркетом. Эту старушку Казнинскую я недолюбливал и боялся. Несколько раз на дню она выходила проветриться, то есть садилась на скамейку возле парадного, собирала губы в пучок и смотрела по сторонам надменными и осуждающими глазами. Мне казалось в эти минуты, что улица замирает под ее взглядом, словно сдерживает дыхание, — до такой степени влиятельность Казнинской представлялась мне сверхъестественной; даже фасад нашего дома, по моему мнению, имел такое же выражение, какое имелось на лице у его хозяйки, и, кажется, смотрел на улицу свысока. Но, к чести этой старушки, она была, видимо, не то чтобы очень эксплуататор, поскольку наш дом издревле засе-

ляли ее родственники и свойственники, на которых, как говорится, где сядешь, там и слезешь. Я сам приходился ей внучатым племянником по отцовской линии.

Мы, то есть я и мои родители, занимали на первом этаже угловую комнату, которая отличалась необыкновенной формой. Особенность ее состояла в том, что из одного угла выходил отростком маленький коридорчик, где был вбит гвоздь для моего пальтишка, и, кроме этого гвоздя, не было ничего. Из обстановки у нас был огромный резной буфет, отделанный под орех, трюмо, на котором стояли вазочки с пучками крашеного ковыля, никелированная родительская кровать и массивный овальный стол с очень толстыми ножками. На этом столе я спал.

Наши вещи я помню смутно и хорошенько представляю себе теперь только один абажур, большой, парашютообразный, ярко-оранжевый с серым налетом пыли. По вечерам, когда мы собирались за чаем и зажигали свет, что из соображений экономии делалось очень поздно, наш абажур заходился приятным, сумеречным сиянием и окрашивал комнату, лица, предметы в странные и умиротворительные цвета. На душе становилось как-то покойно, умильно, и сразу хотелось спать, спать...

В нашей квартире, которых в доме было всего четыре, по две на этаж, кроме нас, обитала моя тетка Капитолина со вторым мужем и выводком моих двоюродных сестер, а также семейство каких-то совсем отдаленных родственников, до того многочисленное, что, боюсь, я их всех так и не знал. С этим семейством мы враждовали, и враждовали люто.

Вообще тогдашняя жизнь отличалась полузабытой теперь жестокостью, и в моей памяти окаменели такие реликтовые видения, как расправы над жуликами, дома, подожженные ради мести, милицейские облавы и висельники обоего пола. В нашей собственной квартире

временами стрясалось такое, что до сих пор при воспоминании мурашки бегают по спине. Все начиналось с какой-нибудь пакости: разрезалось лезвием только что купленное пальто, либо у вашего порога выплескивались помои, либо делалось еще что-нибудь в этом роде. Я недоумевал, откуда у взрослых бралось столько злобы и почему они ведут себя хуже плохих детей. Но потом мне объяснили, что во всем виновата война. Я думаю, что, возможно, причина безобразий на самом деле скрывалась в том, что война отобрала не всю ненависть, которая за четыре года накопилась в народе.

Вследствие пакости на кухне начинался скандал, а затем и драка. Как я теперь понимаю, дрались отнюдь не страшно, но при этом обычно выкрикивали такие дикие вещи и корчили такие плотоядные физиономии, что драки производили жуткое впечатление. Раза два я сам принимал участие в кухонных столкновениях, это случалось, когда при мне оскорбляли мать. Мне было тогда лет десять или одиннадцать, поэтому на меня не обращали внимания и снисходительно относились к моим побоям, но я воевал отчаянно. С тех пор я, кажется, ни разу не дрался. Бить меня били, но что касается драк, то, кажется, в самом деле ни разу. Нет, все-таки дрался, но об этом после.

Самое удивительное, что драки вскорости забывались и тогда восстанавливались товарищеские, в лучшем смысле этого слова — коммунальные отношения. Чуть ли не на другой день после драки можно было видеть, как вся квартира распивает чаи в саду. Выносился громадный стол, скамейки, посуда, самовар, патефон. Все это расставлялось под липой, росшей прямо посредине двора, население нашей квартиры рассаживалось за столом, и начиналось продолжительное чаепитие. Дул ветерок, постепенно багровели физиономии, липа покачивалась и сонно шумела листвой, точно подлаживалась под патефон, который пел, цыкая и шипя:

Что-то я тебя, корова,
Толком не пойму...

В другой квартире нашего этажа жили две большие семьи, там царил мир. Среди народонаселения этой квартиры был только один противный человек — мальчик Костя. Он вечно меня обижал и даже как-то залил мне пальтишко фиолетовыми чернилами. Что касается верхних жильцов, то я почти никого не помню. Помню, что наверху жили все больше старухи, с которыми мы, то есть нижние, особенно не дружили и считали их чуть ли не иногородними, так они казались отдалены. Когда мне случалось идти наверх, мне бывало не по себе, я шел туда с чувством первопроходца.

Теперь моего дома нет, его снесли лет двадцать тому назад, и поэтому я питаю к нему нежное и трогательное чувство, я вспоминаю о моем первом приюте, как вспоминают умерших родственников. Мне хочется припомнить мой дом до последней тонкости, но лицо его уходит, уходит, а из деталей вспоминается почему-то одно и то же: чулан, кот Сашка и большой общий подпол, где хранились продукты и жили мыши. Этот подпол казался мне необычайно вместительным, я даже подозревал, что под землей он распространяется бесконечно, и поэтому не верил в голод, которым меня пугали, если я недоедал за обедом. Видимо, подпол мне запомнился потому, что я как-то в него свалился. Я свалился и заплакал. Я заплакал не потому, что испугался или ушибся, а потому, что вдруг почувствовал себя одиноко.

Теперь о родителях. Отца я почти не помню. В памяти у меня сохраняется не то чтобы образ отца, а образ образа, какое-то впечатление, всякая вещественность ускользает от меня, за исключением желтых пуговиц на бушлате, которые мне запомнились неведомо отчего.

Мой отец погиб в самом начале войны, в августе 1941 года во время потопления нашей эскадры в Таллинской бухте. Дважды я ездил в Таллин, дважды стоял на бе-

регу, усыпанном валунами, спиной к ресторану «Кадриорг», лицом к памятнику «Русалке», и печаль вводила меня в тяжелое оцепенение. Я смотрел в холодную серую воду таких нечистых оттенков, как будто здесь вымылся кто-то очень большой и грязный, и думал о том, что где-то неподалеку лежит мой отец. От жалости и еще какого-то приятного чувства мне чудилось даже, что там лежит не отец, а я. Вероятно, я представлял собою странное зрелище, потому что прохожие оборачивались на меня.

От отца мы получили только одно письмо. Прежде оно хранилось в маленьком трикотажном мешочке вместе с семейными сокровищами, а именно: половиной золотого браслета, оставшегося от бабки, — другую половину снесли в торгсин, — и двумя, неизвестно кому принадлежавшими платиновыми зубами. Потом письмо потеряли.

Мать моя жива до сих пор. О ней я не буду распространяться. Мать — это страдание, больше я ничего не скажу. Что касается прочих предков, то дальше дедов моя генеалогия не идет. По отцу я донской казак, причем с этой стороны бабка была татарка, что сказывается у меня на растительности лица: все кустики, кустики. По матери мы дмитровские мещане, и, говорят, в Дмитрове у нас пропасть родственников. Правда, моя бабка по этой линии училась в гимназии, а брат моего деда имел в Москве суконную фабрику и впоследствии был лишенец.

Я горько жалею, что на дедах моя генеалогическая линия обрывается. В этом отношении я даже чувствую себя одиноко. Между тем моего сына нисколько не интересует наше воробьевское родословие, и мне это странно. Впрочем, уже год, как мы с ним, что называется, разошлись, и, чего ни коснись, я ему—стрижено, а он мне—брито. Я это тайно переживаю, он, полагаю, тоже, но как-то по-своему, нехорошо, вследствие чего у него во

взгляде появилось что-то нелюбовное, неродственное, и, если мы с ним останемся наедине, нам обоим неловко, точно мы друг друга в чем-то подозреваем. Боюсь, что ему тоже чудится в моем взгляде нечто нелюбовное, неродственное, но это оттого, что во всяком его слове и жесте сквозит превосходство, а это мне неприятно. Главное и, возможно, единственное заблуждение молодости заключается в том, что она себе кажется решительно ни на что не похожей, то есть совершенно отличной от того, что когда-либо нарождалось на свет. Это глупости. Со временем все расставится по местам, и прояснится, что, в сущности, ничего нового не произошло, но тогда уже будут дети.

В эту минуту на кухню, потягиваясь, заглядывает мой сын, и я говорю про себя: «легок на помине». Он выпивает чашку воды, садится поблизости у окна и начинает смотреть то в окно, то на меня, причем в последнем случае в его взгляде я чувствую превосходство и жалость в самом скверном смысле этого слова. «Что, голубчик? — говорю я про себя. — Смотришь на отца и думаешь: конченый человек? Нет, брат, очень нет! Хочешь верь, хочешь не верь, а у меня такое чувство, будто все еще впереди».

Возможно, это было бы хорошо сказать вслух, но я заговорил о другом. Странно, отчего мы до такой степени не приспособлены говорить то, что именно и следует говорить?..

— Что ты сегодня делал? — говорю я. — Небось опять спал? Я удивляюсь, как ты живешь! Ведь вон какой кобель вымахал, а все как ребенок: ничем не интересуешься, никуда не ходишь... Один магнитофон у тебя на уме. О чем ты думаешь?..

Сказав это, я чувствую беспокойство. Мне внезапно приходит в голову, что я говорил не из педагогических побуждений, а от обиды. Мне досадно, что мой сын молод и поэтому считает себя многообещающим, меня же

давно отжившим свой век и не имеющим впереди никакой перспективы, кроме перспективы собственной смерти, а это не так. Словом, мне сделалось беспокойно оттого, что я позволил заговорить неблагородному, неснисходительному чувству, и еще оттого, что сын, пожалуй, догадывается о нем. Поэтому я решаю продолжить в другом ключе.

— Ты пойми, чудак-человек, что потом этого времени не вернешь, — продолжаю я. — Пройдет несколько лет — женишься, пойдут дети, заботы, не буду скрывать, заботы нудные, и тогда будет не до чего. Жми, пока есть возможность, займись чем-нибудь, на худой конец в библиотеку запишись, что ли...

«Опять не то, — думаю я, — совсем какую-то глупость сказал». Мне даже подумалось, что, если бы подобное я услышал от собственного отца, я бы решил, что он не умен, в лучшем случае, что ему нечего мне сказать. Впрочем, если рассудить, мне действительно нечего было сказать. Во-первых, мой сын учится, и учится хорошо, а хорошая учеба — это изнуряющий труд, и нет ничего предосудительного в том, что по воскресеньям он позволяет себе бездельничать. Во-вторых, я не знаю противоядия против глупости или, если угодно, молодости, что, по сути, одно и то же, я не знаю, что такое нужно говорить юному человеку, чтобы он опомнился и хлопнул себя по лбу, — стало быть, нечего разоряться. Но, я думаю, меня вполне извиняет беспокойство насчет того, что ничего не меняется, что в семидесятые годы жить начинают так же неумно, как и в сороковые. В частности, мне не нравится, что мой сын приступает к жизни меланхолично, так, будто собирается жить вечно; что теперешняя его жизнь состоит только из двух уравновешенных половин, то есть из занятий и отдыха от занятий; что никакое исключительное желание не смущает его души и никакая величественная перспектива не занимает воображения. Наконец, мне не нравится то, что он прост как

пробка. Может быть, вместо нотаций мне следовало бы рассказать об одном моем товарище, который когда-то занимался выращиванием огурцов на лимонном дереве? Это, конечно, странно, но за этим занятием видится человек, в том смысле, в каком слова выделяют курсивом. Нет, этого, пожалуй, ему не понять. Это как раз покажется ему глупым. Одним словом, мне нечего было ему сказать.

В то время как я рассуждаю таким образом сам с собой, мой сын рассеянно глядит мне в глаза. Наконец он тяжело вздыхает и говорит:

— Пап, отстань от меня, пожалуйста! Человеку хочется расслабиться, а ты все зудишь: этого не надо, того не надо... Надоел ты мне, пап!

Ну что ты на это скажешь? Выслушав его, я отворачиваюсь к самовару, и тут мне на ум приходит одно печальное соображение.

2

Я подумал, что в мои детские и отроческие годы я много слышал о том, чего делать не нужно или нельзя, но ни одна живая душа не растолковала мне, а что, собственно, нужно. Это объясняется то ли тем, что мои наставники сами не знали, что нужно, то ли тем, что всякое конструктивное воспитание в отличие от оборонительного сопряжено с известной ответственностью, а в нашем народе не так боятся холеры, как этой самой ответственности. Положим, я знаю, что нужно, и прописываю своему воспитаннику деревенскую жизнь, полевые работы и занятия древними языками. А вдруг из этого выйдет совсем не то, что предполагалось, ведь потом греха не оберешься! Короче говоря, я не помню, чтобы слышал от кого-нибудь конструктивное наставление, за исключением наставления быть честным, послушным и во всех отношениях аккуратным. Но это то же самое, что наказать человеку быть удачливым и не объяснить, как это делается.

Вообще тогдашнее воспитание не знало особых затей. Преподавание нравственности шло от противного и обыкновенно сводилось к порке, так что истинным столпом дела можно считать ремень военного образца.

Моя мать меня не порола, но так как она была почему-то убеждена, что без порки нельзя, то эта обязанность передоверялась мужу моей тетки Капитолины, суровому, обстоятельному мужику, который по вечерам пересчитывал сахар и заставлял домашних поедать хлебные крошки. Семьи наши были достаточные, на дворе уже стояли сытые пятидесятые годы, но он все-таки жадничал, полагая, что этим воспитывает аккуратность. Процедура битья ремнем, о котором я до сих пор вспоминаю с дрожью, всегда открывалась тем, что мать говорила: «Пойди к дяде Васе, он что-то хочет тебе сказать». При этих словах у меня внутри обрывался какой-то орган, и я плыл в комнату тети Капитолины, где заставал ее мужа за каким-нибудь незлым домашним занятием, вроде ревизии сахара или бритья. Но как только я появлялся в дверях, дядя Вася немедленно напускал на лицо прямо-таки ненавидящее, хищное выражение, пучил глаза, и я до того пугался, что дальнейшее уже теряло всякое воспитательное значение. Затем я покорно спускал штаны, ложился ничком на большой диван, от которого пахло клопами и нафталином, и более-менее стойко переносил примерно минутную порку. Этот злосчастный диван я ненавидел так, как можно ненавидеть только одушевленное существо.

Пожалуй, порка — единственное горькое воспоминание моего детства, и то она припоминается мне чаще всего в необидных, курьезных тонах, тем более что мой тогдашний палач дядя Вася в настоящее время представляет собой подслеповатого добродушного старичка. Когда наш клан собирается на похоронах или свадьбах, он любовно похлопывает меня по плечу и приговаривает:

— На моих руках вырос, сукин сын...

Что касается воспоминаний самой изначальной детской поры, то их крайне мало. Сразу после воспоминания о крещении следует долгий провал с редкими и незначительными просветами. Вот я стою на подоконнике, прижавшись лицом к стеклу, за которым виден замусоренный пустырь. Где я и почему за окном пустырь, я представления не имею. Вот я сижу в траншее, вырытой у нас во дворе на случай воздушных налетов, гляжу в голубое небо, в котором виднеется маленький самолет, и жду не дождусь, когда, наконец, он будет меня бомбить. Затем мне является еще одно, странное, воспоминание, похожее на кошмар. Будто мы с матерью едем куда-то: мы едем заснеженным, мертвым городом, пересаживаемся с трамвая на трамвай, но так никуда и не приезжаем. Что это было? Странное, очень странное воспоминание...

Вполне и мало-мальски последовательно я помню себя начиная с пятилетнего возраста. Эта эпоха открывается весьма неприятным событием: во время игры мне проломили голову. Поскольку это случилось во время игры, я не заметил раны, хотя и почувствовал, что мне будто бы потеплело, — игры так меня занимали, как впоследствии уже не занимало ничто.

К слову сказать, меня до сих пор озадачивает, отчего наши игры, на теперешний взгляд, совершенные пустяки, приводили нас в трепет и пробуждали то удивительное состояние чувств, которое называется вдохновением и в зрелые годы бывает доступно одним исключительным, художественным натурам. Я также не могу объяснить, отчего понарошку мы тогда не любили и любили сильнее, чем в действительной жизни, и если, например, погибали по три раза на дню, то делали это так, как если бы совершенно были уверены, что погибаем единственно и всерьез. Для меня это непостижимо.

Но вернемся к моей проломленной голове. Несчастье случилось во время битвы, которые время от времени затевались на свалке — в нее упиралась наша улица

Луначарского. Впрочем, сначала нужно оговориться, что в географическом отношении наш мир простирался от этой свалки до пересечения улицы Луначарского с Краснoказарменным тупиком. В мои времена этот отрезок был сплошь застроен деревянными, преимущественно двухэтажными домами, каждый из которых имел свой собственный двор, наглухо огороженный высоким забором. Некоторые дворы соединялись потаенными переходами, но положительно в каждом была беседка, помойная яма и какой-нибудь таинственный закуток. Повсюду росли черемуха, подсолнухи и полудикая мальва, а в уголках захолустных и почти не посещаемых взрослым людом — все больше репейник и лопухи. Наши дворы были переполнены ветхими дощатыми постройками, както: баньками, голубятнями, дровяными сараями и в дополнение еще чем-то таким, чему трудно было найти определенное назначение — стоит и стоит. Вся эта полусгнившая деревянная чепуха сообщала нашему детскому миру особую прелесть. Все здесь представлялось загадочным, подстерегающим и сулящим волнующее открытие.

Главная наша забава, которой мы тешились несколько лет подряд, заключалась в военном противоборстве двух соседних дворов, то есть нашего и расположенного напротив, от нашего несколько наискосок. Противников мы называли, кажется, самураями, во всяком случае, как-то очень обидно. Мы вообще не дружили. Перемирия заключались сами собой только на время чрезвычайных событий, например, в тех случаях, когда в нашей палатке «выбрасывали» муку. Тогда вся улица занимала очередь, а мы становились весьма важным общественным достоянием, поскольку муку продавали по килограмму на едока. Стояние в очереди было нудное занятие. Мы в ней проводили полдня, не имея никакой возможности порезвиться, так как номер очереди, написанный на ладони химическим карандашом, мог стереться,

а его, номер, следовало блюсти пуще глазного яблока.

Кроме стояния в очереди, нас примиряли пожары. В годы моего детства пожары случались часто, так часто, что это даже странно, почему лет двадцать как дома совершенно перестали гореть. Я помню один пожар, потрясший меня своими последствиями. Самое страшное было ночью, это я, естественно, пропустил, но наутро вместо большого барака, занимавшего половину соседней улицы, мы увидели только черный, печально дымящийся остов — пожар сожрал барак до фундамента. Горше всего было видеть жильцов, которые плакали на своих чемоданах. К вечеру на пожарище оставался только один какой-то старик, всех погорельцев разобрали к себе родственники и знакомые, но потом забрали и старика. Дня через три пополз слух, будто жильцы из видов получения новой жилплощади сами спалили дом.

К последнему из примирительных случаев относится появление старьевщика Константина, который торговал оловянными пугачами, вертушками, то есть палочками с несколькими разноцветными пропеллерами, «тещиными языками», глиняными свистульками, мышками на резинках и еще одной странной игрушкой, которая называлась «уди-уди». Если прибавить сюда продававшиеся в магазинах пищалки, лошадей на колесах и деревянные сабли, выкрашенные серебряной краской, то составится почти полная номенклатура игрушек моей детской поры.

Как только по прошествии чрезвычайных событий жизнь нашей улицы входила в нормальную колею, мы, как древние греки по прошествии Олимпийских игр, возобновляли военные действия. Накануне сражений, чтобы как следует распалиться, мы приводили в порядок вооружение и разговаривали диалогами из «Черной стрелы».

— Никто из вас не умеет ни на коне сидеть, ни алебарду держать, — говорил один. — А как вы стреляете

из лука, святой Михаил! Если бы старик Гарри Пятый воскрес, он позволил бы вам стрелять в себя и платил бы по фартингу за выстрел.

— Ты самый болтливый дурак во всем Тэнстоллском лесу, — отвечал другой. — Делай дело, да попридержи язык. Если ты столько разговаривал с Гарри Пятым, то в его ушах звону было больше, чем в его кармане.

Затем мы надевали на себя доспехи, сделанные из фанеры, на головы — кастрюли и игрушечные ведерки с отверстиями, просверленными для глаз, и отправлялись на поле брани, то есть на свалку, которая венчала нашу улицу Луначарского. Там мы выстраивались напротив порядков противника, выкидывали знамена, обыкновенно вырезавшиеся из бросового тряпья, некоторое время переругивались, а затем начиналась битва.

Хотя рубились мы самозабвенно и озорно, не то что увечья — царапины и те случались довольно редко. Однако в тот день, о котором я все никак не начну рассказ, мне сильно не повезло, и камень, выпущенный из пращи кем-то из самураев, или как их там, угодил мне в голову в тот момент, когда я снял с головы ведерко, чтобы вытереть пот.

Это случилось в самый разгар сраженья, я помню какую-то очумелость и злой восторг, которые, как мне кажется, должен испытать солдат во время взаправдашнего сраженья. Немудрено, что я не почувствовал никакой боли. Но вскоре стал накрапывать дождь, до свалки долетели материнские голоса, звавшие нас по домам, тогда музыка боя стала понемногу стихать, и мы начали расходиться. Я огорчился, во мне все потухло, и только тут я почувствовал, что мне как-то нехорошо. Не успел я сообразить, отчего мне нехорошо, как увидел, что ко мне, растопырив руки, со всех ног бежит мать. Я испугался и начал осматриваться по сторонам, отыскивая причину ее странного поведения, но ничего такого не обнаружил. Только дома, когда мать засунула мою голову

в раковину мраморного умывальника, вылитого Мойдодыра, и полилась окровавленная вода, я понял, что ранен, и у меня тошнотворно замутилось перед глазами.

Потом меня повезли в больницу. Помню хороший осенний вечер, трогательные сумеречные цвета, пустынные улицы, позванивание трамваев и милого доктора, поправившего мою голову ласково и небольно. По дороге домой во мне разыгралось героическое настроение; мы встретили военного, и я отдал честь.

Я неспроста так подробно распространяюсь насчет ранения головы. Я думаю, что впоследствии это обстоятельство сказалось на моей жизни, но об этом речь впереди.

Следующее воспоминание, образующее последовательность, относится примерно к той же поре, — это воспоминание о квашении капусты. Капустная эпопея начиналась с того, что все мужчины нашего дома в одно прекрасное утро собирались в парадном и шли на рынок. К вечеру они возвращались с мешками превосходной капусты; все поголовно были навеселе. На следующий день во всех четырех квартирах нашего дома начиналось тяпанье. Тяпали с утра до позднего вечера, отовсюду доносился острый тяпающий звук, наш дом насквозь пропахивал капустой, всем было весело, и это даже слегка смахивало на праздник; причем веселее всего было нам, так как нам на съедение отдавались капустные кочерыжки. Они были необыкновенно вкусны, они пахли яблоками, деревнями, упоительно похрустывали на зубах, но, правду сказать, потом мы страдали желудками. Праздник тяпанья еще отдавался у нас под ложечкой, а в подполах уже стояли громадные пузатые бочки с капустой, которая приготовлялась на особый семейный вкус. Была капуста с грибами, была со сливами и мочеными яблоками, провансальская, была просто квашеная капуста и капуста с клюквой. Когда зимой захватишь, бывало, щепоть матовых стебельков с клюквой

и налипшими льдинками, то даже дыхание останавливается в горле, так аппетитно.

Воспоминание о капусте вдруг оказывается настолько влиятельным, что я начинаю глотать слюну. «Нет ли у нас в доме капусты?» — спрашиваю себя я.

— Алло, нет ли у нас в доме капусты?

Никакого ответа. Сын по-прежнему сидит поблизости и помалкивает. У него есть удивительная способность просто сидеть и помалкивать.

— Алло, нет ли у нас в доме капусты? — кричу я жене, которая что-то делает в комнатах.

Жена приходит на кухню, говорит, что капусты нет, и принимается мыть посуду.

Ну ладно. Так вот, по моему мнению, прежняя гастрономия была намного основательней нынешней. Не говоря уже о капусте, круг наших блюд был несоизмеримо утонченнее и разнообразнее, чем теперь. По праздникам и в воскресные дни на столе бывал настоящий парад закусок, а первые блюда мы заедали всевозможными кулебяками. Кроме того, в обиходе нашей семьи были жареные караси, предварительно выдержанные в молоке, грибная подливка, при участии которой можно есть даже дерн, раковый суп, щи с молодой крапивой, картофельные котлеты в яблочном киселе, то есть прямые деликатесы.

Но вот какая загвоздка: я иногда подумываю, что предпочтительное отношение к всевозможным приметам прошлого — это первейшее знамение старости. Принимая к сведению эту мысль, а также припоминая, что в дни моей молодости старики имели обыкновение расхваливать на все лады приметы собственной молодости, я все-таки заключаю, что, в сущности, ничего не меняется и ничего не плошает; видимо, дело в том, что кулебяка и жареные караси связываются у меня с великолепием юношеской поры, и от тоски по невозвратности этого великолепия кулебяка и жареные караси кажутся мне за-

мечательнее шампиньонов в сметане и котлет по-киевски, которых я в юности не едал. Поэтому я стараюсь не очень канючить по поводу новизны и никогда не хвалю былое. Редко-редко, когда ко мне забегает мой приятель Перчаткин, мы сядем на кухне, достанем графинчик с горькой перцовой и канючим друг перед другом до приятного изнеможения. Я, собственно, жалуюсь ради одного счастливого удовольствия жаловаться, и потому обращаюсь к первому попавшемуся обстоятельству. Перчаткин же жалуется всерьез, он неудачник. Он жалуется на погоду, на то, что не любит свою жену, на денежные дела, на сослуживцев, и в эти минуты у него на лице бывает такое кислое выражение, что хочется погладить его по затылку или что-нибудь подарить...

Внезапно мне начинает казаться, что жена угадывает мои мысли, — это бывает. Действительно, через минуту она оборачивается в мою сторону, вытирает запястьем щеку и говорит:

— Если этот дурак Перчаткин еще раз придет к нам в дом, то имей в виду, я ему в глаза скажу, что он дурак.

Моя супруга терпеть не может Перчаткина. В суждениях на его счет она обнаруживает такую жестокость и непреклонность, что мне временами бывает страшно. Но главное, тогда меня поражает, что, несмотря на многие годы совместной жизни, я, можно сказать, не знаю своей жены, ибо я то и дело открываю новые свойства ее натуры, которых прежде ни за что бы не предположил. Если я иду дальше, то мне начинает казаться, что, в сущности, мы с женой, как говорится, разные люди, и я спрашиваю себя: какое таинственное недоразумение соединило нас вместе и что до сих пор мешает разъединиться?

— Я удивляюсь, — между тем говорит жена, — что у тебя может быть общего с этой нюней? Послушаешь его десять минут — и захочется удавиться. И все жалу-

ется, жалуется, сил моих нет! Разве это мужчина? Настоящий мужчина должен быть сильным, решительным, настоящий мужчина всегда победитель. Странно, как с ним жена спит!

Эти слова заставляют меня страдать. Мне больно, что моя жена в такой степени нелюбовна и неснисходительна к людям, что у нее превратное представление о настоящем мужчине, каковое понятие, впрочем, так же нелепо, как настоящая женщина и настоящий ребенок. Но неприятнее всего то, что слово «мужчина» она выговаривает с чувством подобострастия, и сразу понятно, кого она имеет в виду. К тем, кого она имеет в виду, я себя сроду не причислял, и ее слова возбуждают во мне ревность и что-то от похоти. Жена отстраняется от меня, она кажется мне непознанной и чужой, она кажется мне желанной.

— Голубка, — говорю я, проглатывая слюну, — извини, но то, что ты сейчас сказала, — нехорошо. Перчаткин добрый, порядочный человек. Что из того, что он жалуется? Когда ты несчастлив и тебе во всем не везет, то единственный выход из создавшегося положения — встретить сочувствие в женщине или в мужчине, это все равно. Говоря «мужчина», я имею в виду человеческое начало.

— Ты скоро дождешься, что я вообще перестану тебя уважать, — отвечает жена и делает ненавидящие глаза.

Я не выдерживаю ее взгляда, я отворачиваюсь и начинаю думать о том, какое странное учреждение наша жизнь. Полтора миллиона лет люди в мучениях строили здание этой жизни, и вот оказывается, что в нем совсем нельзя жить. А завтра у какого-нибудь заокеанского дурака разыграется печень, и все вообще пойдет прахом, пропадай тогда полтора миллиона лет ни за понюх табаку.

3

В передней зазвонил телефон. Жена вытирает руки о полотенце, семенит в переднюю, и я слышу, как оттуда доносится ее голос, который внезапно приобретает интимную интонацию. Она говорит:

— На что жалуетесь?

В течение пятнадцати лет моя жена начинает телефонные разговоры исключительно этой фразой, вероятно находя ее остроумной. Вслед за этим слышится монолог:

— Все было нормально... Разумеется, я своего не упущу... Да, вполне грамотно... Ты же знаешь, что нам, бедняжкам, мешает в подобных случаях... Чего-чего, а визгу было много... Обязательно...

«Что обязательно? Почему было много визгу? Что мешает этим бедняжкам? — думаю я в это время, как моя жена разговаривает по телефону. — И о чем, собственно, речь? О производственных неувязках или о кутеже? Скорее всего, что о кутеже. Если заполнить паузы предположительно следующими вопросами абонента: как вчера погуляли? у тебя с ним что-нибудь было? и так далее, то выходит, что точно — о кутеже». Тут меня одолевает сладостное чувство ревности, и становится больно-больно. Чтобы как-нибудь утолить эту боль, я принимаюсь за рассуждения: я говорю себе, что, в сущности, ревность — это нехорошее и даже подлое чувство, которого следовало бы стыдиться, как атавизма, например исключительной волосатости. Я смотрю в спину жене, которая уже вернулась к мытью посуды, и спрашиваю себя: а по какому поводу я ревную этого человека, то есть трактую его как собственность, как придаток своей персоны? Или каждый из нас не свободен в своих антипатиях и привязанностях? Этот вопрос немедленно влечет за собой много других; наконец, я спрашиваю себя:

почему любовники не ревнуют к мужьям, а любовницы к женам, и совершенно запутываюсь.

Я, кажется, уже сообщал, что толком мне ничего не понятно. В частности, это непонимание распространяется на вопросы сосуществования двух человеческих разновидностей, то есть мужчины и женщины. На мой взгляд, взаимоотношения между ними основываются на каком-то чрезвычайно загадочном принципе, и эта загадочность может быть растолкована только тем, что природа остановилась в недоумении перед странностями и изобретательностью человека. Самое забавное, что в силу привычки и лени пораскинуть мозгами, собственно, человек от этих недоумений освобожден.

Главным образом меня озадачивает не то что несоответствие, а совершенная несовместимость поэтической внешности взаимоотношений между полами и тем, во что это имеет обыкновение выливаться: я имею в виду существующий способ продолжения рода. Вероятно, в мои лета́ такое направление мыслей покажется удивительным, но, честное слово, я никак этого не пойму. Когда я встречаю женщину, красивую женщину, — некрасивых женщин вообще очень мало, — и она хорошо одета, у нее красивое выражение на лице, да еще если она говорит какие-нибудь красивые вещи, на меня нападает благоговейное чувство и непереносимо хочется сказать что-нибудь по-французски. У меня не помещается в голове, что это небесное существо может годиться на что-либо, помимо целования рук и делания комплиментов. Но в следующую минуту какое-то любопытно-подлое чувство заставляет меня исподтишка представить себе это существо в известные потаенные мгновения жизни, и мне делается так не по себе, что я столбенею. Разумеется, мне понятно, что эти потаенные мгновения предписаны естеством и что иначе нельзя, но это усугубляет недоумение. Одно из двух: или наше существование в гораздо более значительной степени понятие

биологическое, чем мы прикидываемся, и тогда нужно все поставить на соответствующие места, то есть прекратить дурачить наших детей, завести специальную службу по организации браков, на худой конец, прекратить жеманничать и притворяться, будто никто ничего не знает; или мы с вами действительно венец мироздания, полубоги, и то, что свершается в наших спальнях, своего рода жестокая неизбежность, как, скажем, отхожее место в Гефсиманском саду. Но тогда это дело потребует совсем уже божеской простоты. Иначе ничего непонятно, иначе мы с вами будем опутаны таким количеством несуразностей, что когда-нибудь обязательно станем в тупик. А он уж намечается, он за следующим поворотом. К примеру сказать, на прошлой неделе мы были с женой на свадьбе, где среди гостей находились двое, бывших в течение многих лет супругами по существу и посторонними с точки зрения общественного мнения и закона. Какая-то тетка, вероятно родственница невесты, не приминула их уколоть, намекнув на вредный пример для молодоженов. Вообще я человек застенчивый, но тут я не вытерпел и сказал.

— Послушайте, тетка! — сказал я до крайности ядовито. — Между теми людьми, которые вызвали ваше неудовольствие, и нашими молодоженами в нравственном смысле нет никакой разницы, — это я вам точно говорю. Если уж совсем в нравственном смысле, то давайте по-толстовски вообще прекращать это дело. Но я полагаю, что так далеко вы не пойдете. Тогда поверьте мне на слово, что вот наши дети отправятся спать и будут это делать точно так же, как те люди, которые вызвали ваше неудовольствие.

Бедная тетка, выслушав меня, обомлела и стала оглядываться по сторонам, как будто искала, с кем разделить свой ужас. Впрочем, я не думаю, что она меня поняла. Меня поняли в дальнем конце стола, где меня обозвали наркомом сексуального просвещения.

— Не слушайте его, — вдруг вмешалась моя жена, — он когда выпьет, еще не такое может сказать. Это он шутит. Ты ведь шутишь, не так ли?

Я понял, что если сейчас не скажу, что шучу, то дома мне не избежать нахлобучки. Я сказал, что шучу, и, кажется, все остались довольны.

А между тем в годы моего детства, отрочества и даже в первые юношеские годы понятие о любви было у меня гармоничным, как равнобедренный треугольник. Когда я случайно узнал о тайне деторождения, я только недели две косился на мать, — вскоре мой первый испуг рассеялся, и новое сведение законно вписалось в представление о жизни и человеке. Оно никоим образом не выпячивалось и совсем не казалось мне мрачной стороной жизни, поскольку в отроческие годы я полагал, что любовь, как говорится, любовью, а это самое этим самым. Впоследствии я удивился, когда мне сказали, что эти вещи неразделимы. Я был тем более удивлен, что по тем временам предметом моей любви перебывало все, исключая девочек, девушек и, разумеется, женщин.

Впервые любовное чувство пробудил во мне соседский котенок. Я как-то выпросил его поиграть; я посадил его в кузов деревянного грузовика и собрался катать, но тут котенок забавно зевнул и посмотрел мне в глаза. Помню, я застыл и вдруг ни с того ни с сего самым жалостным образом разревелся. Я не знаю, чем этот котенок меня поразил, возможно, на его мордочке было запечатлено какое-нибудь беззащитное выражение, или мне показалось, что он на меня похож, но я вдруг почувствовал, как что-то прекрасное и не помещающееся во мне душит меня сладким удушьем, и слезы одна за другой покатились из моих глаз.

Потом я любил что ни попадя: бездомных собак, нашего молочника Алексея, дерево, росшее под окном, которое я считал чем-то вроде бездомной собаки, товарищей, инвалидов... Возможно, именно по этой причи-

не детство мне вспоминается сквозь какую-то любовную дымку, точно хороший, многообещающий сон. Только гораздо позже моя любовность начала собираться в фокус, и я уже кое-что не любил. Но то, что любил, я любил без памяти. Пока достаточно о любви, тем более что впереди на ней еще придется остановиться.

Последние детские воспоминания, которые заслуживают интереса, связываются у меня с весенней порой. В это время мы почти не бывали дома, поскольку на улице нас ожидали свежие развлечения и всяческое веселье, а в комнатах было как-то особенно зябко; не жарко и не угарно, как осенью и зимой, не прохладно, как летом, а именно зябко. Мы то и дело промокали, болели, на руках у нас высыпали цыпки, но домой нас нельзя было затащить даже под страхом телесного наказания.

Это была, главным образом, мастеровая пора. Весной на нас находило, и мы целыми днями что-нибудь мастерили. Начало этой поры приходилось примерно на середину апреля, когда сходила вода. Поблизости от нашей улицы Луначарского протекала одна ничтожная речушка, которая была замечательна тем, что весной разливалась буквально до необозримости. В дни половодья, когда вода подходила к нашим порогам, в воздухе носилось что-то тревожное; впрочем, на нашей улице вода никогда не поднималась выше щиколоток, но мы все равно не ходили в школу до тех пор, пока не налаживались мостки. А потом наступала мастеровая пора. В разное время мы строили парусник, площадку для детских игр, монумент Луначарскому, но мне единственно запомнилось, как мы строили самолет, — это, вероятно, потому, что его украли. Помнится, ни с того ни с сего нас разобрала идея построить летательный аппарат, летательный в самом строгом смысле этого слова, то есть такой, на котором можно было бы полететь.

Я думаю, знай мы заранее, что наш самолет не полетит, мы ни за что бы не взялись за это дело.

Некоторое время наш умник Костя Босых подготавливал чертежи, а мы приворовывали строительные материалы, главным образом гвозди, на которые в те времена был большой дефицит. Примерно через неделю после того, как сошла вода, мы приступили к работам. Сначала мы сделали фюзеляж, который вышел весьма похожим на то, что в действительности называется фюзеляжем, но хвост и крылья мы изготовили из сбитых досок, что на корню убило нашу затею. Дольше всего мы красили. Наш самолет пришлось выкрасить салатовой краской, так как никакой другой мы украсть не смогли. Затем мы подрисовали звезды и приладили двигатель. Поскольку о настоящем двигателе не могло быть и речи, мы нафантазировали самым нелепым образом: вращательное движение пропеллеру сообщалось посредством велосипедных педалей. Точно помню, что в итоге у нас получилось нечто в высшей степени несуразное, однако мы нисколько не сомневались, что наш самолет полетит. В тот день, на который были назначены испытания, мы долго считались, кому лететь, и всякий раз с замиранием сердца следили за чьим-нибудь указательным пальцем. Так как мы трусили, то всячески запутывали очередность, и пришлось перебрать все известные нам считалки от «Вышел месяц из тумана» до «На златом крыльце сидели», которые, надо думать, были в употреблении еще до реформы 19 февраля. В конце концов, выпало лететь нашему умнику Косте Босых. Босых был отличник, аккуратист и то, что называется маменькин сынок. Когда выпало на него, он так побледнел, что мы не на шутку перепугались. Он умер два года назад от кровоизлияния в мозг.

Разумеется, все страхи были напрасными, наш самолет не только не полетел, но даже не сдвинулся с места.

— Я так и знал, что не полетит, — сказал наш товарищ Витя Удавичонок, и на него все зашикали, а единственный хулиган в нашем дворе Борька, по прозвищу Кузнец Вакула, даже замахнулся на него кулаком.

— Это ты накаркал, черт лопоухий! — закричали мы хором на Витю Удавичонка и с легкой руки Вакулы немножко его побили.

На другой день наш самолет исчез. Мы облазили все дворы, не миновали ни одного, даже самого отдаленного закоулка, но нашли только педали и велосипедную цепь. Мы знали, что наши враги с противоположной стороны улицы были не способны на подобную подлость, и поэтому решили, что кто-то из взрослых позарился на гвозди. Мы с неделю подозрительно смотрели в глаза всякому встречному-поперечному, но так и не вызнали похитителя. Мы думали на фотографа Ивана Ивановича, единственного интеллигента на нашей улице, носившего синий берет с пупочком, что считалось признаком образованности и космополитизма. Теперь даже стыдно в этом сознаться, но тогда мы подозревали, что фотограф Иван Иванович шпион, а после исчезновения самолета решили, что безусловно шпион. Мы даже устроили за ним слежку, но никаких улик, позволяющих вывести его на чистую воду, не нашли и с досады устроили ему невыносимую жизнь. Дважды мы били ему окно, раз натянули проволоку перед входом, о которую он споткнулся и упал, а поскольку был пьян, то долго ругался, из чего мы почему-то сделали вывод, что он вряд ли шпион. Однако, на всякий случай, мы подожгли ему дверь. Иван Иванович, наверное, подумал — пожар, он выскочил испуганный, с подушкой в руках, и я помню, как у него подергивалась щека. Тысяча лет прошло, а я до сих пор вижу, как он стоит, прижимая к себе подушку, и на лице у него такое, что бывало у нас самих, когда нас обижали ни за что ни про

что. Это нас поразило. Мы засовестились и оставили Ивана Ивановича в покое.

Я не знаю, чем объяснить предвзятое отношение к взрослым, которое вечно бытует среди детей. Весьма вероятно, что его можно растолковать через существование совершенно особенной детской жизни, имеющей мало общего с жизнью как таковой, которая детям ошибочно представляется неинтересной и незначительной. Именно жизнью представляется им собственная, детская жизнь, и немудрено, что всякое вторжение в эту жизнь взрослого элемента расценивается ими как неслыханное безобразие, как разбой, против которого, однако, имеется надежное и поколениями испытанное оружие — непослушание. Ясное дело, это идет от незнания взрослой жизни, от полного отрицания в ней способности к тонкому чувству, к высокому побуждению и даже к переживанию, исключая переживание по поводу продранного локтя. Во всяком случае, когда я однажды увидел горько плачущего инвалида, которого кто-то обидел, это показалось мне так дико, что, как говорится, стало темно в глазах; кто бы сказал мне тогда, что даже на склоне лет я не буду себя чувствовать вполне взрослым и самостоятельным человеком, что в сознании у меня останется атавизм старинного детского чувства и в минуту опасности или просто в плохую минуту жизни я буду делать кистью что-то похожее на хватательное движение, точно я норовлю схватиться за материн подол. Я полагаю, что если бы я мог это предугадать, то в детские годы я относился бы снисходительнее к большим людям. Но ребенком меня совершенно не занимала взрослая жизнь, я был одурманен собственной неповторимостью, и, если я время от времени попадал в полосу этой жизни, я ничего в ней толком не понимал.

Помню первую смерть, которую мне довелось увидеть. Умерла наша родственница, — что за родственница, я не помню, помню, что муж ее был учителем фран-

цузского языка. По этому поводу меня, не спросясь, втянули в непонятную взрослую жизнь, в которой оказалось множество несуразностей. Во-первых, было неясно, зачем такое страшное событие, как смерть человека, понадобилось окружить зловещим церемониалом, похожим на неинтересную, но какую-то обязательную игру вроде «замри — отомри». «Вот дураки какие, — раздумывал я, — взяли бы да зарыли себе потихоньку. Так нет, обязательно нужно напугать человека, — как я теперь, спрашивается, буду спать?»

В тот день мне все было странно. Мне было странно, что покойницу зачем-то водрузили на стол, что она тяжело припахивала увядающими цветами, что впоследствии в церкви ей на лоб положили бумажку, похожую на квитанцию, и что по окончании церемонии все оживились, как будто были рады-радехоньки, что сбыли старуху с рук.

Это воспоминание относится к тому разряду воспоминаний, которые живой картиной стоят в глазах. Как сейчас я вижу большую комнату с занавешенными окнами, полумрак, холмик тела, накрытого простыней, я слышу приглушенное всхлипывание, потрескивание свечей, я обоняю приторный запах тлена. Как сейчас перед глазами стоит кислое, заплаканное лицо старика вдовца, который до того обалдел от горя, что иногда причитал над покойницей по-французски. С тех пор я несказанным страхом боюсь покойников и всяческой смерти, независимо от того, умирает ли дерево, человек или кошка. Смерти я боюсь не по той причине, что мое существование когда-нибудь прекратится, а потому, что смерть — это нечто такое, о чем ни от кого загодя не узнаешь, потому что все люди боятся смерти, не понимая, что, собственно, происходит, или даже имея еще более веские основания. Хотя нет, это не совсем точно. Точнее будет сказать, что смерть волнует меня в силу всех пере-

численных обстоятельств, но главным образом потому, что на мой труп мерзко будет смотреть.

— Николай Александрович, — обращаюсь я к сыну, — как ты думаешь, почему раньше существовал обычай оставлять на братских могилах хлеб, яйца и даже деньги?

— Не знаю...

— Я вот тоже раньше не знал. Мне это очень казалось глупо, особенно насчет денег. Оказывается, их клали для нищих. Были такие, называется — нищие, их было много после войны. И ты обрати внимание: какой такт, какая деликатность!

Короче говоря, в детстве я во многих отношениях напрасно сердился на взрослых, которые влезали в наши дела и впутывали нас в свои собственные. Теперь я думаю, что мы тогда даже вряд ли серьезно относились к этим вторжениям и впутываниям, то есть мы, конечно, негодовали, но как-то рассеянно, как можно негодовать на плохую погоду, которая не имеет никакого значения, если все идет хорошо. Повторяюсь: это происходило оттого, что мир взрослых людей нас не интересовал. Вот только удивительно, как это большие ухитрялись постоянно проникать в мои сны. Самое мучительное сновидение моего детства состояло в том, что неизвестный мужчина в гражданском кителе у меня на глазах обнимает мать; я протестую, а мать улыбается и говорит:

«Иди себе. Не видишь, мы заняты...»

4

Недавно со мной произошел отвратительный случай. Я совершил проступок, при воспоминании о котором я чувствую себя неприятно.

В тот день, в тот редкий день жизни, когда мелкие неприятности так и сыплются на голову, я поехал сделать кое-какие покупки. Я уже около получаса трясся в

трамвае, когда на очередной остановке в трамвай взошел противный мужик, который немедленно принялся приставать к молодой даме, сидевшей сидений на пять впереди меня. Первое время эта дама молчала и только глядела в окошко, но потом рассердилась и сказала такое, что пьяный мужик опешил и удалился. Собственно, дело в том, что я испереживался, не зная, как поступить, пока этот пьяный дурак приставал к даме. Я было собрался его осадить, но против этого у меня сразу же выдвигалось несколько возражений. Во-первых, мне показалось, что дама была не особенно оскорблена, на ее спине было написано такое спокойствие, как будто к ней пристают в трамваях по нескольку раз на дню. Из этого следовало, что, осаживая пьяного мужика, я не столько защищаю достоинство дамы, сколько защищаю собственное достоинство, вернее, собственную нервную систему, так как я знал, что, не вступись я за даму, я потом буду очень переживать. Скандалить из личных соображений я посчитал неблагородным и недостойным умного человека. Во-вторых, я подумал, что в случае моего вмешательства в трамвае затеется какая-нибудь пошлая склока и в конечном итоге все выйдет гораздо гаже, чем даже в случае моего невмешательства. Наконец, в-третьих, я до такой степени не умею противодействовать человеку, что непременно остался бы в дураках. Я не умею не только оказать физическое сопротивление, притом что я противленец и полагаю, что большинство наших пороков требуют хирургического вмешательства, но даже не умею ответить оскорблением на оскорбление, разве могу съязвить. Когда меня ставят в необходимость противоборства, я чувствую гадливость и чрезвычайную затруднительность. Я вовсе не мямля, я достаточно хладнокровный и мужественный человек, в молодости я даже совершал отчаянные поступки, но делать контры я не могу. Не могу, и все тут.

В тот же день меня жестоко оскорбили в букинисти-

ческом магазине. Молодой человек, работавший за прилавком, никак не соглашался показать мне три тома Гарина-Михайловского, которые, видимо, были для кого-то припасены. Я ему попенял, на что он дико вытаращил глаза и прошептал злобно-злобно:

— Иди отсюда, старый козел, сволочь такая!.. — и еще кое-что прибавил, чего я, как нормальный человек, не в состоянии пересказать. Выйдя из букинистического магазина, я чуть не заплакал.

Наконец, уже по дороге домой я подвернул себе ногу. Это меня доконало. Я вдруг почувствовал себя совершенным ребенком, которого безответно может обидеть все, что только может обидеть, и такая во мне поднялась тоска, что хоть стой, хоть падай. И вот из-за угла мне под ноги бросается маленькая собачонка той неудельной породы, которая называется комнатной, то есть бестолковое, мелочное, злобное существо. Она бросается под ноги и заливается яростным, сиплым лаем. Тут со мной случился припадок ненависти: голова вдруг стала очень тяжелой, перед глазами пошли круги — я нагнулся, поднял какой-то камень и швырнул его в собачонку.

Она, бедняга, даже не взвизгнула. Камень разнес ей череп, и она тряпочкой пала на тротуар. Меня сразу же отпустило, я посмотрел на дело своих рук и окаменел. Я не знаю, в каком порядке и в какой зависимости нужно расставить русские прилагательные, самые горькие русские прилагательные, чтобы пересказать то состояние чувств, которое меня обуяло. Если когда-нибудь мне придется сознаваться в самом своем ужасном поступке, я расскажу про убийство комнатной собачонки.

Главным следствием этого происшествия, если не считать меланхолии, явилось, однако, то, что на сорок втором году своей жизни я впервые задумался над природой человеческой злобы. Оговорюсь, что я имею в

виду не ту законную злобу, с которой противоборствуют несправедливости или защищают от оскорблений, а ту непонятную, таинственную злобу, которая, как Гея, рождается вроде бы не из чего и беспричинно побуждает всячески пакостить человеку. Ничего положительного я, разумеется, не надумал и остановился на том, с чего начинал: нет ничего загадочней беспричинной злобы. Принимая во внимание большое горе, которое всех нас объединяет, а именно неизбежную смерть, принимая во внимание, что, может быть, нас всего-навсего три миллиарда на бесконечность, наконец, просто исходя из того соображения, что человек — это человек и обижать его так же нездорово, как биться головой о стену, — другого слова, кроме как «загадочная», для человеческой злобы не подберешь. Я было попытался объяснить ее происхождение нашим животным прошлым, но у животных случаи насилия по отношению к представителю своего рода крайне редки и, главное, имеют своим источником инстинкт продолжения рода. Стало быть, таинственная бактерия злобы порождается именно обществом человеков, причем порождается этим обществом вопреки его существу и совершенно в пику тем законам природы, которые нам известны. Скорее всего, что момент поражения бактерией злобы падает на отроческие годы, когда в нас закладывается столп человечности, поэтому, для того чтобы доподлинно выяснить что к чему, следовало бы со всех сторон рассмотреть этот возраст. Но сколько я ни припоминал собственное отрочество, мне на ум не приходило ничего такого, что могло бы воспитать в нашем брате склонность к антропофагии, которая так отягощает жилищные условия на земле. Может быть, я обманываюсь, но далекое мое отрочество не напоминает мне решительно ничего тягостного, раздражающего, а, напротив, навевает какое-то милое чувство, от которого приятно пощипывает в ноздрях. Понятно, в те годы я видел зло, я видел немало зла, но в силу неко-

торых архитектурных особенностей души оно не так чтобы очень меня задело.

Впрочем, я думаю, менее всего вероятно, чтобы внешнее зло было виной жестоких метаморфоз, так как в первые годы жизни зло поголовно всем представляется материей противоестественной, незаконной. Только в зрелые годы, когда зла видишь гораздо больше, соображаешь, что оно оказывается естественно и опирается на законные основания, равно как и добро, и уже относишься к существованию зла снисходительно, точно к глупому человеку, который не виноват, что он глуп. Это сознание не обязательно примиряет вас с фактом существования зла, и, если вы порядочный человек, оно будет вас истязать до гробовой доски. Но самое ужасное — это то, что вы сознаете зло зла и тем не менее носите в себе что-то такое, что позволяет вам прибить собачонку. Короче говоря, эта механика чрезвычайно сложна, но злобные закономерности не дают мне покоя, и поэтому отроческие годы составляют предмет моих самых придирчивых размышлений.

Отрочество — нелепая и таинственная пора. Не говоря уже о внутренних, душевных процессах, даже внешность подростка, ежели присмотреться, наводит недоумение. Руки, ноги, одежда совсем мужские, но это при странной слезливости, нескладности и младенческом выражении на лице. А злорадность, а ожесточенность, а умение сподличать? В отрочестве ничего не стоит повесить кошку, в этом возрасте радуются, когда кто-нибудь споткнется или угодит в грязь, радуются, если могут поставить тебя в тупик дурацким вопросом, радуются, когда удается кому-то нагадить, словом, удивительно пошлый, злобный, сентиментальный возраст. Но это, что называется, с колокольни сорокалетнего человека, — будучи подростком, я бы ничего подобного о себе не сказал. Наоборот, я припоминаю себя тихим, мечтательным, словно обращенным вовнутрь, и страшно обидчи-

вым. Вероятно, к тринадцати-четырнадцати годам во мне уже сложилось что-то такое, что образует начало личности, этакие побеги самосознания, к которым я требовал уважения и которые неистово охранял. Естественно, что всякое пренебрежение к моему внутреннему суверенитету вызвало во мне ненормальную, истерическую оскорбленность. Например, я до сих пор не могу простить своей маме, что около тридцати лет назад она нахлестала мне по щекам за то, что я с температурой ходил гулять. Вообще из этого можно вывести, что отроческое злорадство и ожесточенность представляют собой мстительный продукт взрослого обхождения, и подойди мы к отрочеству с настоящим, нециркулярным уважением его внутреннего суверенитета, глядишь, не нарадовались бы на новое поколение.

Это странно, но отрочество я помню хуже всего. У меня сохраняется не столько воспоминание, сколько род ощущения, которое распадается на три составные части: на скуку, на славное чувство дружбы и еще одно нудное чувство, такое, как будто в отрочестве я только и делал, что готовил уроки. Что же касается более или менее поучительных эпизодов, то как я ни стараюсь припомнить, ничего более или менее поучительного не вспоминается, разве что вспоминается, как я начинал курить.

Курить я стал оттого, что в те годы, на которые выпало мое отрочество, было несказанное множество сортов табаку, продававшегося в самых аппетитных обертках. Были сигареты под названием «Пчелка», которые пахли медом, были сигареты «Дукат», стоившие так дешево, что, можно сказать, ничего не стоили, были папиросы размером с коломенскую версту, ими задевали прохожих, — одним словом, хочешь не хочешь — закуришь. Первая моя сигарета называлась «Южная», она была с детский мизинец величиной, то есть примерно вдвое короче обыкновенной. Курить я отправился с большими предосторожностями в закоулок из закоулков и, кажет-

ся, в тот день впервые осознал себя настоящим мужчиной. Но вот что, собственно, поучительно: первая выкуренная сигарета впоследствии пробудила во мне стыд и раскаяние, точно я совершил что-то крайне предосудительное, что-то на манер кражи. В те годы я расстреливал воробьев, поил сердечными каплями всякую домашнюю живность, мазал горчицей учительские столы, но болезненное чувство раскаяния возбудила во мне выкуренная сигарета. То есть это сколько же нужно времени, чтобы переступить через нелепости воспитания и самому по себе сделаться порядочным человеком!..

Я уже упоминал, что один из трех китов, на которых держится отроческая жизнь, это упоительная мальчишеская дружба — на ней я намерен остановиться. Как правило, годам к тридцати, когда вы совершенно оформились, у нормальных людей друзей не бывает, но в отрочестве, когда в одиночку созидание личности не под силу, когда в вашем характере недостает то того, то другого, мальчишеская беззаветная дружба необходима как витамины. Немудрено, что в отрочестве мы дружили неистово.

Моим первым другом был рыжий грузин Ефим Капанадзе. Я полюбил его за то, что он прочитал «Блеск и нищету куртизанок» и научил меня делать самопалы. В одну из наших мастеровых весен мы заболели огнестрельным оружием и целыми днями возились с прикладами, трубками из латуни, которые набивались зеленой серой и заряжались шляпками от гвоздей, — в десяти шагах этот заряд насквозь пробивал дюймовую доску. Ефим же меня полюбил... я не знаю, за что он меня полюбил.

Кроме Ефима, я дружил еще с несколькими мальчишками, и в отрочестве за мной закрепилась репутация «настоящего друга», что в соответствии с нашей табелью о рангах было званием первого класса, так ска-

зать — генеральский чин. На противоположном полюсе, где-то на уровне ефрейтора, был «предатель».

На самом деле «настоящим другом» я никогда не был. В этом я вполне отдавал себе отчет еще в отроческие годы. Обстоятельства складывались для меня таким образом, что мне ничего не стоило быть «настоящим другом». Я давал списывать встречному-поперечному, так как сам не прикладывал к учению никаких усилий и учился с грехом пополам; я не жадничал, не оговаривал за глаза и не крал игрушек, что также не стоило мне усилий, поскольку эти достоинства были у меня в крови. Но если бы ради Ефима мне нужно было пойти на жертву, я бы на эту жертву вряд ли пошел. Вероятно, мои друзья чувствовали во мне неверность, во всяком случае, я подозревал, что меня тайно недолюбливают. Это подозрение сопровождало меня до последней молодости и только недавно отпустило, — всяческая неприязнь вдруг стала мне безразлична.

Как я уже упоминал, в нашу компанию, кроме нас с Ефимом, входило еще несколько мальчишек, которых я перечислю из благодарности. В нашей компании был Дочерейкин Саша, мальчик до такой степени тощий и бледный, что казался просвечивающимся насквозь, был Игорек, как по фамилии — не припомню, этот отличался жадностью грызуна, наконец, был Борька — Кузнец Вакула, который уже фигурировал где-то выше. Он был ужасный хулиган.

Главное наше отроческое занятие было искание кладов. В подходящее время года мы почти ежедневно собирались во дворе возле помойки и шли искать клад. Эпопея кладоискательства началась после того, как в ходе разборки одного сгоревшего дома были найдены золотые монеты. С этого дня мы потеряли покой.

Всеми нашими операциями руководил Дочерейкин Саша, которого мы считали главным специалистом по кладам. Он говорил, что у нас обязательно должны

быть зарыты клады, так как в баснословные времена в наших местах жили преимущественно купцы, которые, по логике вещей, должны были зарывать клады. Саша был уверен, что сокровища таятся поблизости от уборных и помоек; по его мнению, хитроумные купцы зарывали клады возле них специально, чтобы зловоние отвращало кладоискателей.

Как и следовало ожидать, никаких кладов мы не нашли, в конечном результате мы только воняли. Однако наша земля оказалась нашпигована всяческой чепухой, какими-то черепками, железками, и нужно было только копнуть, чтобы в отвале нашелся гвоздик, горлышко от бутылки или железка неизвестного предназначения. Я отлично помню, что во время копания мы обмирали от приятного предвкушения и еще какого-то нервного чувства, которое, я думаю, знакомо только кладоискателям.

Иногда я спрашиваю себя, что было бы, если бы мы действительно нашли клад, и отвечаю, что ничего особенного не было бы. Скорее всего, мы употребили бы его для игры в расшибалку. Это получилось бы не из ребячества, а потому, что нам законно чудесным образом передалось природное русское свойство снисходительного отношения к деньгам, истинно народное бессребреничество, из-за которого, в частности, у нас распространилось то сомнительное убеждение, что сто друзей — это лучше, чем сто рублей. (Сомнительное, потому что где их взять, сто друзей?) Возможно, что это свойство мы не столько унаследовали, сколько оно было воспитано в нас самой жизнью, которая в те годы была близка к идеалу философа Диогена; но с другой стороны, было бы опрометчиво отрицать существование какой-нибудь особенной хромосомы, заведующей витанием в облаках. Однако нужно сознаться, что в нашей мальчишеской семье не обошлось без урода; кто это был — не припомню, помню, он связывал с кладоискательством меркантильные интересы. Он как-то проговорился, что намерен вложить свою

долю в облигации государственного займа и выиграть сто тысяч. Мы его не осудили, для нас это было то же самое, что переплавить монеты в пуговицы, но какое-то двадцать шестое чувство сказало нам, что из него получится плохой человек.

Тут нужно оговориться, что в отроческие годы мы жили преимущественно перспективой, и нас не столько занимало то, что́ мы есть, сколько то, что́ мы будем. И все-таки мы уже более или менее прочно делились на людей плохих и людей хороших. Эта классификация не имеет ничего общего с понятиями «настоящий друг» и «предатель», вы могли быть предателем и хорошим человеком одновременно. По сути дела хорошим человеком считался тот, кто в разговоре не употреблял бранных слов и не дрался, как взрослые, то есть всерьез. Последнее было самым предосудительным. Когда нам случалось драться, мы никогда не норовили ударить противника по лицу, если же такое стрясалось помимо воли, то и виновник и потерпевший немедленно прекращали драку и заливались слезами. Но были среди нас и такие, которые дрались с настоящей ненавистью и вдохновением, били чем по́падя, куда по́падя и до тех пор, покуда не уставали. Таких я люто боялся и мог дать сдачи только в том случае, если меня заставали врасплох. Если же драке предшествовал ритуал издевательств и запугивания, у меня отнимались руки.

В этом отношении самым мужественным из нас был Борька—Кузнец Вакула, который однажды выручил меня из беды. Однажды — было мне лет тринадцать — я сидел на лавочке возле дома. Мне было ужасно скучно, и я уже собрался идти домой, когда ко мне подошел мальчишка, которого я не знал, — верно, он жил на другой улице.

— Ты чего здесь сидишь? — как сейчас помню, сказал он мне. — А ну проваливай!

Тогда меня поразило только его нахальство, теперь

меня поражает еще и непонимание тех мотивов, которые заставляют таких людей набрасываться на вас ни с того ни с сего. Может быть, есть люди, которые слишком чувствуют свою низменную ущербность и время от времени вынуждены прибегать к избиению, как мы с вами прибегаем к помощи анальгина, когда у нас раскалывается голова? Но тогда, повторяю, меня поразило только его нахальство.

— Сам проваливай, — сказал я и зло сощурил глаза.

Я никак не предполагал, что из нашего разговора получится драка, но мальчишка размахнулся и ударил меня по лицу. Я не почувствовал ни обиды, ни боли, я почувствовал необходимость наказать неслыханное нахальство. Я схватил своего обидчика и легко повалил на землю. Потом я сел на него верхом и стал думать, что делать дальше. Надо сказать, что он поставил меня в весьма затруднительное положение: если бы он начал сопротивляться, я бы его усмирял, но он, каналья, лежал подо мною тихо, видимо, он не ожидал такого поворота событий. Вдруг кто-то ударил меня по голове, я обернулся и получил удар кулаком в лицо, от которого даже на мгновенье ослеп. Я вскочил на ноги, отбежал к стене и тогда разобрал, что на меня напало человек пять мальчишек. Лиц я, конечно, не разобрал, так как от ударов, посыпавшихся на меня, у меня сделалось оранжево перед глазами, но я думаю, все они были не наши и, понятное дело, одна компания.

Били меня недолго. Вскоре прибежал Борька — Кузнец Вакула, помахал монтировкой, и компания бросилась наутек. Я был так благодарен Борьке, что простил ему все, и главным образом то, что он сам частенько меня бивал. Выручил он меня, полагаю, из ревности.

Года три-четыре тому назад я неожиданно встретил Борьку на улице. Мы обнялись. Собрались было, как водится, выпить за встречу, но везде были очереди.

Поговорили минут пятнадцать. Вообще разговор вышел неловкий, я то и дело спрашивал:

— Ну как живешь, черт?

Борька пожимал плечами и отвечал:

— Да ничего, живу вроде...

При прощании я сказал:

— Все-таки ты был подлец, Борька! Помнишь, как ты меня обижал?

Он рассмеялся.

Интересно, что вышло из тех мальчишек, которые били меня лет тридцать тому назад?..

5

Юношеские годы я отсчитываю от той поры, когда я впервые влюбился. Мне было пятнадцать лет.

Года за полтора до этого происшествия мы с матерью переехали на новую квартиру. Нам дали комнату в громадном кирпичном доме, в котором были ванная, газ и центральное отопление. Первое время я мылся по нескольку раз на дню.

Влюбился я в марте месяце. Погода в том марте стояла странная: было тепло, дуло нагретым, пахучим ветром, снег лежал черный, но почему-то не таял. Небо было высокое, серенькое, еле заметно отдававшее в голубизну и только в одном месте, там, где должно было находиться солнце, прозрачно белело, как будто в этом месте небо протерли пальцем.

Состояние, которое меня постигло, очень трудно передается, примерно говоря, чувство такое, как будто вы позабыли о чем-то приятном, а вспомнить лень. Я еще не был влюблен, но во мне уже ходило предчувствие, что-то предвещающее влюбленность. Это сильно похоже на сны, которые предваряют простудные заболевания.

Мою избранницу звали Наташей. Она была высоко-

го роста, узкобедрая, широкоплечая, как я теперь понимаю, просто гадкий утенок. Лицо у нее было незамечательное и выражало терпеливое ожидание. За что я ее полюбил — бог весть.

Как и с чего у нас началось, я не помню, мне припоминается уже та фаза влюбленности, когда видеть Наташу было для меня физиологически необходимо — как спать или есть. Я собачонкой ходил за ней по пятам, лез на глаза, и когда оказывался в поле зрения, то вытворял что-нибудь несуразное. Если же мне не доводилось ее увидеть в течение дня, то вечером я крейсировал под ее окнами до тех пор, пока мать не загоняла меня домой. Мне нужно было увидеть хотя бы ее тень, скользнувшую по занавеске, иначе у меня поднималась температура.

Все-таки интересно, почему я ее полюбил? Или, может быть, объект любви вообще не имеет сколько-нибудь существенного значения, возможно, любовь зарождается сама по себе и кидается на первого попавшегося человека, ведь недаром говорят: «Любовь зла, полюбишь и козла»? Скорее всего, что так, тем более, помнится, в Наташе мне сначала понравилась какая-то мелочь, кажется, манера симпатично морщить нос, когда она бывала чем-нибудь недовольна. При виде этого сморщенного носа со мною от нежности чуть ли не делался обморок.

Любовь моя была безответной. Когда я наконец набрался духу и объяснился, Наташа, по обыкновению, сморщила нос и сказала, что нисколько меня не любит. Она отказала мне с таким безразличным видом, как если бы я просил у нее точилку для карандашей. Мне стало так больно, что зарябило перед глазами, и я полюбил ее пуще прежнего.

Впрочем, со временем ей понравилось ходить в предметах настойчивого обожания, она стала ко мне снисходительней и дважды позволяла себя целовать. Я

знал о мотивах ее снисходительности, но мне было решительно все равно. Я держал ее губы в своих губах, а она косила мимо меня. Это даже сверхъестественно, как я ее любил.

В юности я узнал еще одну разновидность любви — любовь к самому себе. В отличие от любви к женщине и любви вообще, третья, эгоистическая разновидность имеет более или менее постоянную отправную точку. Вы можете быть уверены, что это чувство постигло вас, когда в особенно одинокую, какую-нибудь трогательную минуту, слушая музыку или наблюдая необыкновенный закат, вы говорите себе, что нужно обязательно запомнить эту минуту на всю последующую жизнь. Однако вы имеете в виду не минуту, не музыку и не закат, а самого себя в минуту музыки и заката, то кажущееся вам исключительным и никому больше не даденным чувство самоощущения и то неизъяснимое наслаждение, которое вызывается этим чувством. Затем следуют другие, более явственные признаки любви к самому себе. Мне, например, нравилось видеть свое отражение в зеркале, нравилось нравиться, нравилось целовать себе кисти рук, наконец, я стал всерьез сомневаться в неизбежности своей смерти. Но, так сказать, апогеем самовлюбленности была у меня идея, что будто бы мне суждено какое-то особое, историческое назначение. Я тогда не понимал, что можно быть знаменитым полководцем или известным писателем и одновременно несчастным человеком, прожившим жизнь зря, и думал, что высшая справедливость будет состоять в том, чтобы мне достался какой-нибудь исключительный жребий. Если бы тогда мне сказали, я стану часовщиком, я, вероятно, наложил бы на себя руки, — такой я был идиот. Я представления не имел о том, что именно грандиозного мне предстоит совершить, и определенно вывел для себя следующее: либо к двадцати пяти годам я становлюсь кумиром, либо я натворю что-нибудь ге

ростратовское, например, сожгу нашу районную библиотеку. Это говорит мне только о том, что юность не знает, что такое настоящая жизнь, и берет за образец земного существования бедолаг, которые в силу разных, не очень важных причин известны большему кругу людей, нежели тот, какой составляет круг их знакомств. Но, с другой стороны, юношеские претензии могут обозначать совершенно противоположное, а именно то, что в юности мы располагаем огромной душевной силой, способной творить самые благородные и величественные дела. Правда, тогда неизбежно возникает предположение: видимо, в жизни существует какой-то особенный механизм, который с течением времени выпускает из нас избыток деятельного пара. Иначе чем объяснить, что из множества великих ученых, первооткрывателей, художников, государственных мужей, словом, благодетелей человечества, которыми мы себя представляем в юношеские годы, в конце концов образуется множество милых, но самых обыкновенных людей?..

— Послушай! — говорю я сыну, и он оборачивается ко мне. — Вот я в твои годы собирался стать великим человеком. Лучше сказать, просто не видел для себя другого выхода. Что ты об этом думаешь?

— Я думаю, что это глупо, — отвечает он в той снисходительной интонации, в какой отвечают на вопросы не совсем нормальных людей.

Я начинаю сердиться.

— И ничего не глупо, — говорю я, — сам ты... не очень умный человек. Ведь ты возьми в толк, балбес ты этакий, что у тебя впереди всего-навсего лет шестьдесят, которые пролетят — моргнуть не успеешь, и никогда — понимаешь? — никогда больше не повторятся! Так неужели их псу под хвост?..

Меня перебивает жена.

— Опять ты парня с панталыку сбиваешь? — гово-

рит она. — Не слушай его, Николай, папа у нас блаженный.

— А я не слушаю... Он научит, как в тюрьму попасть. Правда что блаженный.

Я очень обиделся, так обиделся, что внезапно почувствовал луковичный запах в носу. Я встал и, придерживая термометр, пошел к себе в комнату.

Это сильно сказано — к себе в комнату, в сущности, это спальня, но когда я хвораю или же остаюсь в квартире один, я всегда сижу тут. В нашей спальне стоит диван, тумбочка для белья, платяной шкаф, в углу, в деревянной кадке, — пыльная финиковая пальма, которая временами источает приторный субтропический запах. В отличие от всех комнат, которые я когда-либо видел, наша спальня имеет лицо, способное принимать самые различные выражения — от удивленного до растроганного. Мне кажется, что лицо нашей спальни — это лицо приятной пожилой женщины, неумной и добродетельной, из тех, которые сочувствуют пьяным, называют сентиментальные фильмы «тяжелыми» и с первыми оттепелями ходят на босу ногу.

Главную достопримечательность моей комнаты составляет множество картинок и фотографий, которые висят на стенах. Тут есть степной пейзажик, вырезанный из журнала, портрет маршала Жукова, который смотрит весело и надменно, несколько классических репродукций, четыре жениных фотографии и одна моя, где меня почти невозможно узнать — это фотография моего школьного выпуска. Мы стоим лесенкой, в три ряда, навытяжку, на лицах у нас испуг и предвкушение счастья. Вот Витя Балясов, о нем мне ничего не известно, вот Оля Шилович, в которую я был влюблен одно время, она собиралась стать каким-то политическим обозревателем. И что же? Теперь это сорокадвухлетняя тетка, больше вроде бы ничего. У тебя скоро будут внуки, Оля... А вот Алеша Пращук. Он был у нас пер-

вым учеником, потом он закончил физический факультет, стал «ядерщиком» и до самой смерти производил в Дубне какие-то ядерные работы. В тридцать четыре года он умер от белокровия. Я случайно встретился с ним лет десять тому назад, он уже был болен. Алеша говорил, что глупо заниматься физикой элементарных частиц, когда существуют красивые женщины, когда можно иметь детей, справлять юбилеи и ездить на Соломоновы острова. Надо сказать, что Алеша был фанатик своего дела, не имел семьи и дальше Дубны никуда не ездил.

А вот Вениамин Остроумов, по прозвищу Черный Веня, — этот был подлец первой руки. С ним у меня как-то вышла занимательная история, которая так правдиво изобличает эпоху и наши юношеские нравы, что я эту историю вкратце перескажу. Однажды на каком-то собрании, то ли на комсомольском, то ли на классном часу, Остроумов подложил мне большую свинью. Он вдруг встал и сказал, что вот, дескать, весь класс борется за высокую успеваемость, а между тем в коллективе завелся такой космополит и поклонник Запада, как Воробьев, то есть я, который дошел до того, что среди бела дня появляется на улице в узких брюках, танцует с Нестеренко — так звали моего соседа по парте — упадническое буги-вуги, а также собирает открытки с видами Лондона и Парижа. Это был страшный удар — удар ниже пояса. Дело в том, что это была пора, когда целое поколение перешивало байковые шаровары в брючки-дудочки, отращивало кок, похожий на грибоедовский, и танцевало под наивную музыку, записанную на рентгеновских фоноснимках. Это была пора, когда только-только пошли разговоры о сюрреализме, когда еще не давали веры генетике, когда местные комитеты возвращали женам мужей, когда ношение узких брюк, шейных платков и грибоедовских коков было своего рода гражданским поступком, потому что те лю-

ди, которые не давали веры генетике и возвращали женам мужей, рассматривали ношение узких брюк как нечто чрезвычайно опасное для общественного спокойствия. Теперь в это трудно поверить, но тогда приходилось серьезно отстаивать ту точку зрения, что ношение узких брюк не обязательно влечет за собой государственную измену. Словом, я нисколько не преувеличиваю, назвав выступление Остроумова страшным ударом, а также ударом ниже пояса, поскольку я действительно принадлежал к тем, кто перешивал в брюки-дудочки байковые шаровары.

Я решил, что Черный Веня затеял свести со мной счеты; счеты были: мы оба добивались взаимности от Шилович. После собрания я подошел к нему и сказал:

— Ну и подлец же ты, Остроумов!

— Это почему же я подлец? — спросил он, оторопев.

— Нет, если ты это серьезно говорил, то ты просто дурак. Но только я думаю, что дело пахнет керосином. — И я многозначительно покосился на Олю Шилович, которая что-то читала, облокотившись о подоконник.

Остроумов заморгал глазами и стал нервно озираться по сторонам, из чего я с неудовольствием заключил, что Оля тут, видимо, ни при чем и что он серьезно опасается космополитизма. Но ход был сделан, и я не мог взять его обратно, мужское чувство не позволяло.

— Так что, Остроумов, за такие дела тебя следует наказать, — продолжал я и сжал кулаки.

— Какой методой? — спросил Остроумов.

Я ему объяснил. Я предложил что-то вроде дуэли: нужно было выбрать секундантов, сойтись один на один в мужском туалете четвертого этажа и драться до первой крови.

Сейчас Остроумов — дядька в очках. У него нервный тик: время от времени он закидывает голову и на-

чинает ею трясти, как пеликан, который глотает рыбу. Хотя мы с ним часто встречаемся, я всегда пугаюсь этого тика. Кроме того, при встрече мне всегда бывает ужасно стыдно нашей дуэли, точнее, того боевого чувства, лютого чувства, с которым мы решили друг друга отколотить. Я думаю, случись в тот день землетрясение, дуэль все равно бы состоялась.

Как и было оговорено, мы сошлись в мужском туалете четвертого этажа, разделись по пояс и встали в позы. Так мы стояли минуты две-три, поскольку все же были нормальными людьми и, видимо, понимали, что попали в глупейшее положение, что ударить человека вот так, за здорово живешь, затруднительно и очень стыдно; мы, наверное, рады были бы разойтись, да не судьба.

Мне мучительно это помнить, но я первым дал пощечину Остроумову. В ответ он ударил меня по темени.

— Идиот, разве по темени бьют? — сказал я и тоже ударил его по темени.

Мы еще с минуту обменивались ударами, до тех пор, пока я случайно не попал Остроумову в нос. На кончике его носа тотчас набухла багровая капля, и поединок был прекращен. Покуда он с помощью секунданта промывал себе нос, я держал его рубашку и форменный китель.

Эта дуэль — первостепенное воспоминание моей юности. Кроме нее, мне явственно помнится то, как я впервые напился допьяна. На другой день мне было так нехорошо, что я вовек не забуду, что виною всему была апельсиновая водка, которой, славу богу, давно нет в продаже и отвратительнее которой я сроду ничего не́ пил. Дело было на даче. Этой водки я выпил от силы стакан, но с непривычки меня так развезло, что я всю ночь проискал дачу, где мы гостили, и не нашел. Я отлично помню, что вышел на воздух за малой надобностью и заблудился. Я так долго искал эту злосчастную

дачу, что чуть не свалился с ног. В конце концов, я лег посредине улицы, свернулся калачиком и заснул. К счастью, наутро от озноба я проснулся рано, едва рассвело, и меня никто не увидел. С тех самых пор я пью редко и неохотно, чем вызываю у окружающих легкую антипатию, которую у нас почему-то питают к непьющим людям.

Конечно, кроме этих двух злоключений, я еще много что помню, но прочие воспоминания незначительны и сливаются в единое полотно, по чувству возбуждающее следующую картину: урок, очень скучно, в окне бьется муха, сосед поскрипывает пером; единственное развлечение — это круглое колено девочки, которая сидит сбоку и немного наискосок.

Насколько я понимаю свои юношеские годы, центральное свойство человека этого возраста — глупость. Юношеской глупости мне не совестно, так как в ней я не нахожу ничего суверенного и наступательного — так, просто глупость. Да и можно ли спрашивать настоящего ума с человека, который и двух десятилетий не прожил среди людей, ведь никто же не спрашивает зубов с новорожденного младенца. Скверно только, что в юношеском возрасте эта глупость отнюдь глупостью не кажется, а считается наоборот: чем глупее, тем самобытней. Это происходит из-за того, что юношеская глупость, как правило, изъясняется очень туманно, и не разберешь, то ли это чрезвычайно глупо, то ли чрезвычайно умно. Если бы нужно было привести образчик наших «умных» разговоров, ничто не сгодилось бы в такой степени, как знаменитый средневековый спор, касающийся того, что именно ведет на рынок козла: правая кисть хозяина или веревка.

Надо полагать, что теперешняя юность умнее нашей, и уже потому, что теперь не бывает диспутов, которые в мое время горячо способствовали распространению глупости. Эти диспуты собирали массы народу и

предлагали для обсуждения самые нелепые темы. Я присутствовал на одном, он, помнится, назывался «Что ты возьмешь с собой в космос?». Это был надувательный диспут, так как предложенный выбор оказался оскорбительно узок: нужно было выбирать между веткой сирени и сборником стихов Евгения Евтушенко. Помню, что на диспуте мнения разделились примерно поровну, и только какой-то остряк, на которого все зашикали, ни с того ни с сего предложил обсудить проблему отхожего места на космическом корабле. Когда его выводили, он клялся, что говорил серьезно.

Вдруг мои мысли начинают путаться и расплываться. Сначала я никак не могу сообразить, в чем причина, но тут до меня долетают звуки какой-то песенки, и я соображаю, что это сын включил на кухне приемник. Песенка до невозможности глупая:

Мы знаем, что девчонки могут надоесть,
Но все же в них, ребята, что-то есть...

— И я даже знаю, что именно, — доносится до меня голос сына.

Циник несчастный...

6

Я прекращаю отсчет моим юношеским годам в ту минуту, когда я полез в шкаф за шестым томом Малой советской энциклопедии и нечаянно смахнул на пол наши часы. Это, на первый взгляд, мизерное событие безусловно повлияло на мою будущую судьбу, то есть на то именно, что некоторое время спустя я сделался часовщиком.

Часы наши были старинные, сейчас точно не помню, но, кажется, фирмы «Мозер и сыновья». Когда они упали и раскололись с веселым пасхальным звоном, их внутренности вывалились наружу, и меня неожиданно

поразило, что такой простой организм, который, в сущности, состоит из пружины, маятника и системы колесиков, имеет сверхъестественную, магическую способность измерять то, чего нет. Ведь время не существует само по себе, я знал это задолго до катастрофы с часами, я вычитал об этом у Лукреция Кара. Вообразите себе мыслящий спичечный коробок или зеркало, которое отражает несуществующие предметы, и вам будет понятно мое благоговение перед часами. В этом нехорошо сознаваться, но до сих пор мои недоумения не разрешены, и я все надеюсь, что в один прекрасный момент тайна откроется в каком-нибудь всемирном соотношении радиусов или в новом значении арабских цифр.

Однако до того, как я сделался часовщиком, в моей жизни произошло много событий и перемен, которые ни с какой стороны не предвещали склонения к этому ремеслу. Начать надо с того, что я провалился на выпускных экзаменах по математике, чего, впрочем, следовало ожидать, так как примерно с седьмого класса я совершенно махнул на нее рукой. Поскольку в мое время дело с экзаменами и переэкзаменовками обстояло гораздо строже, я перешел в вечернюю школу, снова сел в выпускной класс и до октября месяца подыскивал, куда бы устроиться на работу.

Мне претили все неромантические занятия. Тогда как раз прошло поветрие на своего рода подвижничество, компонентами которого были драные домашние свитера, презрительное отношение к материальным благам, из-за которого даже всплыла проблема отцов и детей, и возвышенный образ мыслей. Это поветрие образовало новый гражданский тип. Принадлежавшие к нему были принципиальными некарьеристами, принципиальными холостяками, зарабатывали гроши, но имели романтические или крайне редкие профессии, вроде носителя бриллиантов. Они отпускали бороды, были завсегдатая-

ми кафе, где почему-то преимущественно играли в шахматы, и умели говорить очень смешные вещи. Ужасно интересно, чем они все-таки кончили и куда подевались? Это поветрие не оставило меня равнодушным, и ясно, что тогда мне претили все неромантические занятия. Я походил-походил и устроился в драматический театр монтировщиком декораций.

Что ни говорите, а всякий человек, имеющий отношение к театру, даже если он подметает сцену, прямой человек искусства. Это происходит не от того, от чего самые яркие боевые воспоминания бывают у обозных солдат, а оттого, что так устроен русский театр. Хотя мой труд из всех физических был самым физическим, я был очень занят репликами, мизансценами, проходами и так далее, то есть был прямой человек искусства. Этому направлению способствовало еще то, что я был знаком со всеми актерами нашей труппы, а с двумя или тремя был даже на короткой ноге — это многое значит. Наконец, я был занят в массовке, я представлял матроса. Спектакль, в котором я... ну, скажем, играл, запомнился мне до тонкостей.

По команде помощника режиссера я выхожу на сцену: на мне бескозырка, бушлат, сбоку лакированная кобура. Когда я делаю первый шаг, на меня нападает чувство, которое испытываешь перед тем, как прыгнуть с большой высоты, но вот я уже на сцене, и мне вдохновенно жутко. Впереди, там, где должен быть зрительный зал, зияет дыра, громадная, черная; она смотрит выжидательно и не дышит. На сцене же ослепительно ярко, в спину припекают софиты, пахнет пóтом, пылью и чем-то горелым. Я около минуты стою возле левой кулисы, покуда не раздается сигнальная реплика:

— Складывайте оружие, господа левые эсеры и меньшевики!

Тут актеры, играющие левых эсеров и меньшевиков, выкладывают на стол деревянные пистолеты, а я беру

с моим напарником этот стол, и мы его выносим за сцену. Собственно, это все, тем не менее я так гордился своей причастностью к театральному действию, что переводил на спектакль всех своих родственников. Моя мать, после того как увидела меня на сцене, сказала с убитым видом:

— До чего же мне тебя жалко, какой ты глупостью занимаешься!

Ее слова меня огорчили, но я сказал про себя: «Увы, не всем дано понимат‑ искусство!»

Я с симпатией вспоминаю о театральном периоде своей жизни еще потому, что я тогда был участником отличной компании. Эту компанию составлял на редкость веселый и сумасбродный народ. Среди нас был даже один печатающийся поэт, о котором теперь, правда, ничего не слыхать.

Мы собирались после спектаклей и устраивали безобидные оргии: мы пили пунш, который варили сами, играли в «правду», целовались, декламировали стихи и разговаривали диалогами из спектаклей. Даже вина нельзя было выпить без того, чтобы не процитировать театральную классику. Например, можно было сказать словами Маши из «Трех сестер»: «Выпью рюмочку винца. Эх, жизнь малиновая!»

Если же совсем нечего было сказать, то говорили: «А он и ахнуть не успел, как на него медведь насел». Это тоже из «Трех сестер».

Однажды в нашей компании неведомо каким образом очутился Иннокентий Михайлович Смоктуновский, тогда еще относительно молодой человек, — мы потом долго вспоминали об этом приятном событии. Он выпил два стакана пунша, помолчал и ушел.

Ровно через год, считая с момента образования, наша компания развалилась: все вдруг стали поступать в институты. Я тем летом сдал окаянную математику, получил аттестат зрелости и решил тоже куда-ни-

будь поступить. Ни к чему определенному душа у меня не лежала. Я собирался подавать документы и на искусствоведческое отделение в университет, и в институт кинематографии, и в сельскохозяйственную академию, так как мне внезапно пришло на ум посвятить жизнь борьбе с энцефалитным клещом, но в конце концов оказался я на художественно-графическом факультете.

Трудно даже сказать, что меня туда потянуло, так как рисовать я не умел сроду. Я подозреваю, что мною руководил один совершенно чепуховый мотив, а именно то, что я с детства люблю запах конопляного масла, которым разводят краски.

На экзамене нужно было рисовать голову Лаокоона. Я бился над рисунком часа четыре, и в итоге у меня вышло не то чтобы совсем плохо и не то чтобы хорошо, а правильнее сказать, что более или менее похоже на голову Лаокоона. Я сдал свой рисунок первым, и, вероятно от того, что не с чем было сравнить, мне поставили «удовлетворительно». Вслед за этим я кое-как выдержал экзамены по другим дисциплинам, и меня приняли. Я так ликовал, что похудел от счастья.

Лучше бы меня не принимали. Я целый семестр аккуратно ходил на занятия, рисовал больше и хуже всех, начал носить берет, критиковать академиков и браниться последними словами. Но вот как-то раз — не зная, какая муха меня укусила, — я в сердцах сломал карандаш и сказал себе: «Ладно, побаловались, и будет». Дело было на занятиях по композиции, я раньше всех выполнил задание и скучал. От нечего делать я начал осматриваться по сторонам, и вдруг я вижу, что вокруг меня происходит удивительное таинство. Мои товарищи, все больше худенькие, нервные люди, чуть ли не елозят по ватману, хнычут, заламывают руки, а из-под этих рук мало-помалу начинает проступать какая-то жизнь. Мне стало стыдно. Я в сердцах сломал карандаш и сказал себе: «Ладно, побаловались, и будет». На

следующий день я подал заявление об уходе. Декан посмотрел на меня, сняв очки, кивнул и поставил подпись.

Это случилось перед самой сессией, в начале зимы. Я вышел на улицу: было зябко, в воздухе пахло сыростью, снег лежал грязный, как нестираное белье. Но этот непорядок в природе был мне приятен; мне было приятно, что я не одинок, что природе так же беспокойно и тошно, как было мне. Какой это был год? То ли пятьдесят девятый, то ли шестидесятый. Кажется, шестидесятый, так как вскоре пошли новые деньги, стало быть, дело было накануне реформы. Ай-яй-яй, как годы летят: я переживаю уже третью модификацию денежных знаков!

Последующее полугодие у меня совершенно отшибло из памяти, как будто его не было вовсе: где я бывал, что я делал — представления не имею. Весной я завербовался в энтомологическую экспедицию, едущую на Алтай, — какой черт меня дернул завербоваться, я тоже не знаю.

Четверо суток я тащился в купе с угрюмыми мужиками, которые пили водку и ели соленые огурцы. В Барнауле мы пересели на поезд до Бийска, а от Бийска полдня ехали по Чуйскому тракту, покуда нас не привезли в Горно-Алтайск. Чудной городок! На улицах прохожие пристают с серьезными разговорами, возле автобусных остановок торгуют жевательной смолой и кедровыми шишками, девушки знакомятся по первому предложению. Если прибавить сюда двухэтажные деревянные дома довольно мрачной архитектуры, но загоревшие на солнце до золотистого состояния, краеведческий музей, в котором экспонируется чучело барса с пуговицами вместо глаз, и кинотеатр, покрашенный голубой известкой, то выйдет почти законченный портрет этого городка.

В Горно-Алтайске мы просидели сутки. На другой

день наша экспедиция погрузилась и часа через три душевынимательной езды прибыла на пункт назначения.

Сразу же по прибытии я сильно затосковал. Все окружавшее меня, начиная с физиономии начальника экспедиции и кончая кашей, которой нас накормили, внезапно показалось таким нерасположенным и вообще сулящим всякие неприятности, что мне до слез захотелось домой. Впоследствии, когда я освоился и попривык, тоска донимала меня только по вечерам. Если мы бывали в маршруте, то по вечерам мы сначала собирались вокруг костра, ели пшенную кашу с колбасным фаршем, пили чай, отдававший хвоей, и одновременно разгоняли клубы комаров, так что со стороны, наверное, могло показаться, что мы кого-то приветствуем; но потом наступало время, когда было некуда себя деть, и тут на меня наваливалась такая тоска, что выразить нельзя, как мне становилось кисло. Я забирался в палатку, в которой уже были сумерки, слушал томительное гудение комаров, и мне думалось что-то грустное-грустное; потом я нечаянно засыпал. В ту пору мне неизменно снилась погоня: то я догоняю, то меня догоняют.

Об этом уже тысячу раз говорили, но я скажу в тысяча первый раз: романтической такая жизнь представляется только в воспоминаниях или со стороны, на самом же деле это такая проза, такая проза! Единственное, что мне за это время встретилось замечательного, был наш рабочий, очень рассудительный человек по фимилии Ковыряев, у которого было странное имя, какого прежде я никогда не встречал, — Филофей. Собственно, замечательными были его разговоры, которые доставляли мне единственное развлечение и в которых, по мере тогдашних моих возможностей, я находил много чувства, ума и природного благородства. Удивительно только, что каждый свой монолог Ковыряев начинал с одного и того же.

— Не понимаю! — говорил он и делал испуганное лицо. Вслед за этим он мог навести критику на начальника экспедиции или на нашего завхоза Анну Петровну, которая сбывала казенный спирт, мог рассказать какую-нибудь тонкость из жизни растений, наконец, он мог порассуждать о бренности бытия. Больше всего он любил парадоксы.

— Не понимаю! — говорил он, делая испуганное лицо. — Вот возьмем, например, индейского петуха, большая птица, но — бестолковая. Теперь сравним его с соловьем, который сам с ноготок и серенький, как мышонок. То и другое пернатые, но какая разница!..

Сказав что-нибудь, Ковыряев долго глядел мне в глаза, как будто дожидался ответа, и это глядение очень меня смущало, тем более что я обычно не совсем понимал, что он имеет в виду.

— Вы, наверное, книжек много читаете, Ковыряев, — говорил я. (Я всегда называл его по фамилии, мне казалось, назови я его по имени, он подумает, что я издеваюсь.)

— Нет, я книжек совсем не читаю, у меня своих несчастий хватает. Вот, скажем, такое несчастье: гляжу я на вашего брата, и... не понимаю! Кажется, человек всю жизнь прошел от «А» до «Я»; как говорится, любил и был любим. И что же? Строго говоря, ничего. Как он был Ваня, так он Ваня и остался. Ему скоро помирать, а он все как дите малое: вроде алфавит знает, а простого слова составить не в состоянии...

Кроме Ковыряева, в нашей экспедиции была еще одна замечательная фигура — старая старуха, кандидат каких-то насекомых наук. Несмотря на старость, она была очень бойкая старуха и целыми днями бегала с оранжевым сачком по полям. Мне бывало жутко наблюдать за ее охотой: ее широкие брючки надувались как паруса, и казалось, что брючки бегают самостоятель-

но; очки с толстыми стеклами сползали на нос, седые волосы путались и развевались; вообще в ее облике появлялось что-то демоническое, навевавшее подозрение, что старушка ловит насекомых не для коллекции, а чтобы их есть. В этом подозрении, бывало, еще укрепишься, если случайно встретишься с ней глазами: она так смотрела, как будто жалела, что ты не насекомое.

Этой жизни я выдержал один месяц. В первых числах июля я рассчитался и собрался ехать домой, но добраться до дома мне было суждено только через полтора месяца. На следующий день после расчета я сидел в чайной на Чуйском тракте и пил фруктовую воду, как вдруг ко мне подсаживается детина в теплой кепке, сбитой на правое ухо, ставит на стол четыре бутылки портвейна и начинает приставать с разговорами. Он мне все про себя рассказал: что его зовут Витя, что он работает в Средней Азии, а сюда приезжал хоронить сестру, что он зарабатывает так много денег, что ему здесь не верят, что в городе Чарджоу у него есть любовница, персиянка, а в Байрам-Али есть другая любовница, от которой у него, возможно, будет ребенок; что он гвоздем пробивает доску, что он может пить сколько угодно и никогда не пьянеет. Все это было забавно, но меня гораздо больше заинтересовали его рассказы о Каракумах, где он работал на земснаряде, которым чистят дно. Витя чистил дно Каракумского канала. Потом он стал рассказывать о тиграх, живущих в зарослях тростника, и о бое тарантулов, который можно устроить в консервной банке. Мне вдруг так захотелось посмотреть на живого тигра и на поединок тарантулов, что я решил ехать в Среднюю Азию.

— Свободно дело! — закричал Витя и поднес ладонь к моему носу. — Еще один день пьем, так, — он загнул указательный палец, — а послезавтра дуй нам ветер в задние колеса, так? — и он загнул средний палец.

Через день — весь другой день мы действительно пропьянствовали — мы поехали в Бийск, а оттуда через Барнаул в Ашхабад. В Ашхабаде мы до вечера гуляли в окрестностях проспекта Свободы и раз пять пили кофе, который в одном кабачке варил разговорчивый толстый грек. Спиртного мы в Ашхабаде ни-ни. Зато когда мы ехали поездом дальше, через пустыню, Витя притащил из вагона-ресторана ящик шампанского, и мы меланхолически потягивали его все восемь или десять часов пути.

Пустыня меня разочаровала. Я рисовал себе рассыпчатые барханы, уходящие за горизонт, цепочки караванов в подрагивающем далеке и миражи, миражи... В действительности же я увидел одну окаменевшую глину, которая к полудню раскалялась так, что на нее невозможно было ступить; еще были кустики, безжизненные, как солома. Но главной достопримечательностью оказалась жара: жара стояла такая, что казалось, будто ты постепенно таешь и испаряешься. Гибельная жара! Наша посудина была целиком из металла, и один раз я случайно прислонился к косяку рубки: я получил ожог второй степени. Немудрено, что пустыня уже на третий день стала меня раздражать. А Витя, проснувшись, каждое утро взбирался на крышу кубрика и говорил:

— Скажи, привилегия тут у нас, благодать господня!

При этом он деревянно отводил руку — был у него такой жест.

По представлению Вити я был зачислен в команду матросом второй категории. Кроме меня и его, вахту держал еще маленький мужичок, туркмен, которого звали Каналгельды, что означает: канал пришел. Это был милый, застенчивый человек. Он смешно говорил по-русски, примерно так, как говорят совсем маленькие дети, когда едва научатся говорить, и даже выражение лица во время разговора бывало у него детское.

Мы поднимались ужасно рано и работали до наступления темноты. Правда, днем, в самое пекло, у нас был большой перерыв: мы обедали и валялись в кубрике, покуда не спадала жара. Утром же я и Каналгельды первым делом садились в лодку и ехали осматривать сети; наша утренняя добыча неизменно составляла несколько килограммов сазана и усача — рыбы на редкость вкусной. Когда мы возвращались, Витя уже работал: металлический хобот сопел и хлюпал, как простуженный человек, а из отвода на берег фонтанировала густая, черная жижа. Витя из рубки показывал нам кулак.

Весь день до сумерек я выполнял всякие малосущественные работы, какие на путных судах достаются юнгам. Я драил палубу, перекачивал горючее из маленьких барж, которые мы за собой таскали, крепил по берегу якоря, готовил обед. Наш обед состоял из вареной рыбы и сухарей. То и другое мы запивали водой, до того соленой и теплой, что меня за обедом всегда подташнивало.

Поздно вечером, когда на небе уже проступали звезды, мы забирались на крышу кубрика потосковать перед сном. Мы лежали лицами к небу, курили и думали о своем. Изредка Каналгельды начинал лепетать что-то о реорганизации их управления или Витя затягивал какой-нибудь невразумительный разговор, из которого ничего невозможно было понять.

— Витя, — перебивал я его, чтобы он замолчал, — ты говоришь по-русски, как иностранец.

Витя обижался и замолкал.

Часов в десять мы отправлялись спать. Я подолгу не мог заснуть. Сначала меня донимали мысли, которые даже мыслями не назовешь, так... какие-то дуновения, а потом по правому борту всходила луна, огромная, белая с зеленцой, как бы с налетом плесени, и у меня сов-

сем отбивало сон. Как только над правым берегом повисала луна, откуда ни возьмись высыпали шакалы — это повторялось аккуратно каждую ночь. Они выстраивались шеренгой вдоль берега и начинали протяжно выть. Они выли фальцетами и дискантами, временами как-то всхлипывая и икая. Мне никогда не забыть черный высокий берег, из-за которого выкарабкивается луна, цепочку шакалов и дикий, протяжный вой, выворачивающий наизнанку. А тут еще Витя ворочается и бредит во сне:

— Куда дел гайку, говори, змей!..

В эти самые ночи во мне пробудилось чувство, которое прежде как-то не давало о себе знать. Это чувство называется любовью к родине. Я не подберу слов, которые хотя бы в общих чертах обозначили это чувство, до того оно тонко, многосложно, может быть вообще необозначимо. Скажу только, что вдруг я болезненной тоской затосковал по самым обычным приметам родного края: по избам с голубыми наличниками, по нашим птицам, даже самым не поэтическим, вроде галок и воробьев, по черемухе, по маленьким сонным речкам, в которых водятся пескари. Оказалось, что эти простые вещи значат гораздо больше, чем можно было предположить, и что, живя вне их окружения, чувствуешь, что тебе как-то несподручно, не по себе. Немудрено, что я затосковал по этому окружению, как тоскуют по свободе или по единственно любимому человеку. Я даже стал враждебно относиться к пустыне, не разочарованно, а враждебно, так я затосковал. Особенно меня раздражали здешние птицы, окрашенные в ярчайшие, противоестественные цвета, напоминающие бензиновые разводы.

Вскоре произошло незначительное событие, которое имело значительное следствие, — я сбежал. Случилась песчаная буря. Как-то ближе к обеду воздух вдруг потемнел, поднялся страшный ветер, и мгновенно исчезла всякая видимость, — даже солнце казалось далеким

жемчужным пятном. Ветер был такой страшной силы, что я удивлялся: как это нас не сдует с лица земли.

Мы не успели закрепить якоря и ждали несчастья. Единственное, что мы смогли, — это позакрыть все окна, которые закрывались вовнутрь, сверху вниз. На одном из окон оказалось не замеченное нами ласточкино гнездо, первой родимой птицы, которую я повстречал в пустыне. В гнезде был птенец, совсем маленький и отвратительный. При падении он разбился.

Вид убившегося птенца меня поразил: мне стало страшно. Я подумал, что прежде нас было двое соотечественников в пустыне, один уже мертв, и, вероятно, второго тоже ожидает что-нибудь в этом роде. У меня внутри что-то заныло от предчувствия беды, и я решил бежать.

К счастью, на другой день заканчивалась наша вахта, и мы ждали сменщиков. Весь этот день я был сам не свой, я до боли в глазах всматривался в линию горизонта, где, того и гляди, должна была появиться машина. Но она подошла только вечером.

Ночью я уже сидел в Марах, в аэропорту. Денег у меня не было ни копейки, так как я немного не дотянул до первой зарплаты. Но я был почему-то непоколебимо уверен, что улечу, и, действительно, улетел.

Ночь я провел на садовой скамейке, а утром проснулся одинокий, голодный, жалкий, — самого себя было противно. До обеденного времени я бродил как потерянный там и сям, два раза выходил на летное поле, но меня выводили.

Чтобы не дать разгуляться предчувствию неудачи, я было решил поспать, но как только я пристроился на скамейке, ко мне подсел человек с бородавкой на лбу и в фуражке гражданского летчика. Он сказал:

— Слушай, парень, кроссворды умеешь разгадывать? Русский летчик, из семи букв, последняя «н», — сказал он и засунул в рот карандаш.

— Уточкин, — сказал я.

— Точно! — воскликнул он. — Ты, я гляжу, специалист.

— Уточкин был заика, — добавил я, чтобы продолжить выгодное знакомство, и человек с бородавкой еще раз назвал меня специалистом.

Когда мы с ним закончили кроссворд, он из благодарности напоил меня пивом. Я расхрабрился и спросил, как бы мне улететь, не имея за душой ни копейки денег.

— Это можно, — ответил он. — Раз ты такой специалист, то я тебя отправлю. Только ты мне свой адрес оставь. Если что, я у тебя заночую.

Способ перелета оказался необыкновенным и, надо сказать, потребовал от меня немалого мужества, страху я натерпелся — на полжизни вперед.

Первым делом новый знакомый напялил мне на голову собственную фуражку и провел на летное поле. Мы долго шли до самолета, который, по словам моего освободителя, через два с половиной часа должен был отправиться в мой родной город. Мы вошли в самолет, прошли по салону до хвостовой части, человек с бородавкой отворил дверцу уборной и говорит:

— Вот видишь под умывальником люк, на котором пломба? За ним будет спуск в такую мышеловку метр на метр, называется «зайчатник». Я этот люк за тобой запломбирую, а как приземлитесь, ты его пни и вылазь. Курить — избави бог!

У меня все захолонуло. Я представил себе, как буду сидеть в темном «зайчатнике» и об этом не будет знать на борту ни одна живая душа. А если мой освободитель ошибся и самолет доставит меня на какие-нибудь Сейшельские острова — ведь я руки на себя наложу! Я сделал над собой усилие и полез в темноту. Долетел я нормально.

И вот я что думаю: удивительно приспособлена наша держава для человеческой жизни, то есть захо-

чешь — не пропадешь. Правда, много чего доброго делается за счет доходности и порядка, но, может быть, лучше кое-какой непорядок, раз он позволяет поддерживать в нужном градусе нашу человечность и доброту. Ведь будь у нас совершенный, какой-нибудь швейцарский порядок, то человек с бородавкой умер бы с голоду, а я так и прожил бы до старости в Марыйском аэропорту.

С тех пор в моей жизни не было никаких приключений. Нет, было: в 1961 году, когда я ехал поездом в Ленинград, по радио объявили, что полетел Юрий Гагарин. Я на радостях напился во второй раз в жизни, и мне тоже захотелось выкинуть что-нибудь героическое. На полном ходу поезда, где-то в районе Вышнего Волочка, я вылез из тамбура, забрался на крышу и битый час бегал от тендера до хвостового вагона. А так больше у меня приключений не было никаких.

7

Из дальних странствий возвратясь, я некоторое время слонялся без дела. Нужно было куда-то устраиваться на работу. Вместо этого я женился.

Я женился во времена первого поветрия на ранние браки. Новое поветрие держалось на том принципе, что жениться и выходить замуж следует не обязательно тогда, когда нужно жениться и выходить замуж, а когда, например, встретишь подходящего человека. Хотя это было известно еще давно, наши матримониальные принципы считались чересчур смелыми и вызывали много пересудов и неодобрения. Но молодые люди того времени в этом смысле взяли такую смелость, что даже встречались мужественные пары, которые обнимались прямо на улицах.

С моей первой супругой я познакомился самым распространенным и пошлым образом: я к ней пристал в трамвае. Тогда существовала целая школа случайных

знакомств, которая знала бездну предлогов для затевания разговоров. Существовали способы познакомиться с девушкой, которая стояла, сидела, бежала, читала газету, был даже способ знакомства на случай, если девушка ела яблоко. Нужно было сказать что-то насчет запретного плода, что, дескать, одна тоже любила яблоки и это кончилось неприятностями. Предполагалось, что никакая девушка, кушающая яблоко, не сможет устоять перед таким остроумием.

Я не помню, что я тогда говорил в трамвае своей жене, но, вероятно, я молол такой вздор, что нормальному человеку было бы больно слушать. Как бы там ни было, мы познакомились и примерно через неделю отнесли заявление в загс. По этому случаю мать мне устроила продолжительный скандал, несколько раз от меня отрекалась, но потом вдруг смирилась. На свадьбе, чтобы сделать мне приятно, она даже отозвалась о невесте на нашем тогдашнем жаргоне:

— Ценный кадр! — сказала она.

Моя собственная свадьба, в отличии от всех, на которых мне довелось бывать, показалась мне двусмысленной, как поминки. Я до сих пор вспоминаю о ней с недобрым, стыдливым чувством, как о проступке, — остается щемящее ощущение неприличности. И вот что странно: главным образом, это ощущение вызывается воспоминанием о моем жениховском наряде. Я отчетливо помню, как я был одет: на мне был костюм в крупную клетку, то есть пиджак, очень коротенький и мужественный в плечах, и узкие брюки, которые, едва прикрывая щиколотки, по требованию тогдашней моды показывали носки.

Где-то посредине медового месяца мне стало ясно, что долго мы с молодой не протянем. Во-первых, мне страх не понравились некоторые слова, которые оказались у нее в обиходе, а во-вторых, всякие досадные мелочи, как-то: хронический насморк, спущенные чулки

и охота до многозначительных разговоров. Например, если мы возвращались домой из театра, она всегда несла такую вредную околесицу насчет темы верности и разоблачения мещанской идеологии, что я несколько раз зарекался говорить с ней о чем-нибудь мало-мальски серьезном. До свадьбы я не замечал за ней особенной глупости, и это открытие меня огорчило.

Жили мы на редкость нехорошо. Мы не скандалили и не дрались, но когда мы с ней оставались вдвоем, нам обоим бывало так раздражительно, тяжело, что я еще удивляюсь, как мы с ней протянули полтора года.

Медовый месяц еще догорал, а я уже возвращался домой с тяжелым-тяжелым чувством. Чтобы видеть жену пореже, я даже устроился работать во вневедомственную охрану, каковая работа заключалась в том, что каждую третью ночь я патрулировал в мотоциклетной коляске, сторожа несколько ларьков и продовольственный магазин. Поскольку после дежурства я спал круглые сутки, мы стали видеться вдвое реже, но и этого оказалось много — я совершенно перестал ее выносить. Когда утром я возвращался с дежурства, моя жена, если она в это время не переписывала в альбомчик какое-нибудь чувствительное стихотворение, садилась напротив и смотрела мне в рот. Как только я съедал последний кусок, она переводила глаза на любой попавшийся ей предмет и смотрела на него взглядом естествоиспытателя. Я ложился, спал, просыпался, пил чай, а она все сидела на кухне и рассматривала тот же самый предмет. В конце концов, это начинало меня бесить:

— Поди почитай чего-нибудь, нельзя же так, голубка, — говорил я, на что моя жена всегда обижалась и начинала плакать. Плакать она могла сколько угодно долго. Меня это мучило, и по прошествии короткого времени я начинал подлизываться.

— Ну, извини меня, — говорил я, — я сказал глупость...

Иногда она разнообразила свое поведение еще одним фортелем: она садилась напротив меня и делала вид, что ей очень больно. Она сидела и корчила у себя на лице страдание, а я в это время гадал, действительно у нее что-то болит или она притворяется, и волей-неволей начинал сострадать. С ее стороны это было чрезвычайно неделикатно, даже в том случае, если у нее действительно что-то болело. Когда больно бывает мне, я всегда стараюсь уединиться, чтобы не мучить людей, которые инстинктивно будут сострадать моей боли, — я уползаю, как кошка.

Но, как ни странно, время от времени эта женщина вызывала во мне припадки влюбленности. Один такой припадок случился после того, как я обнаружил в пепельнице посторонний окурок. Я ошалел от ревности, я вдруг почувствовал, что люблю жену до помешательства, я целовал ее лифчики и стоптанные босоножки. Она же в тот день, как назло, вела себя разнообразно и независимо.

В ближайшее ночное дежурство я нарочно разбил себе голову. Я, наверное, с четверть часа стучался головой о косяк кондитерского ларька, пока не пошла кровь и я не почувствовал головокружения. В ту ночь я вернулся с дежурства раньше обычного и сказал, что у меня была схватка с ворами. Крайнего впечатления, на которое я рассчитывал, это известие не произвело.

Теперь нужно сказать, что в тот же период со мной произошло нечто гораздо более существенное, чем женитьба и семейные нелады, поэтому я прекращаю повествование о первой жене и приступаю к описанию самой беспутной полосы моей жизни.

На двадцать пятом или двадцать шестом году моей жизни сказалось то обстоятельство, что в детстве мне проломили голову. Метаморфоза, которая меня постигла, проявилась сначала в том, что от непричастности к настоящему делу, от семейных неурядиц и отсутствия

всяческой перспективы, короче говоря, с горя, во мне что-то лопнуло и разлилось по нутру каким-то тихим и счастливым страданием. Я стал замечать за собою странные вещи: я уже мог долго сидеть недвижим, на манер жены, и смотреть в одну точку, прислушиваясь к тому, что ворочалось у меня на душе; на меня напала слезливость, даже от созерцания закатов слезы подкатывали к глазам; наконец, временами меня одурманивало то удивительное состояние, которое, видимо, и называется счастьем. В такие минуты я казался себе надутым чем-то веселым и теплым, как дирижабль, — кажется, вот-вот полечу.

Это закончилось тем, что я записал. Однажды ночью я внезапно проснулся и почувствовал приятный зуд в голове. Еще не открыв глаза, я почувствовал, что моя голова наполнена запахами, красками, какими-то разговорами, которые, перемешавшись, и производят этот приятный зуд. Если бы я дополнительно знал, чтó такое сумеречное состояние, я бы сказал, что в ту ночь я проснулся в сумеречном состоянии.

Полежав немного подле жены, я потихоньку встал, походил по комнате и вдруг уселся за письменный стол. Я зажег настольную лампу, пододвинул листок бумаги, взял ручку и, не сознавая хорошенько, зачем я все это делаю, стал выводить узоры. Впоследствии об этих минутах я мог сказать точно: я ни о чем не думал и решительно ничто не собирался писать. Как вдруг я увидел, что пониже узоров у меня сама собой написалась фраза: «Темным октябрьским вечером из большого, мрачного дома с увядшим садом за чугунной решеткой вышел высокий, мускулистый мужчина и, внимательно осмотревшись по сторонам, медленно пошел по направлению к Каменному мосту». Я прочитал эту фразу и остолбенел. Фраза показалась мне совершенной, точно списанной у какого-нибудь классика. Я подумал-подумал и вывел, что я писатель.

Это открытие меня приятно ошеломило. Хотя из написанного у меня была пока одна фраза, я принялся размышлять о грядущей славе и о том завидном положении, о котором говорят — денег куры не клюют. За этими чудесными размышлениями я почти бессознательно приписывал одну за другой новые фразы и к утру, когда за окном закашляли и громко застучали каблуками первые прохожие, исписал шесть страничек. У меня получился рассказ. Сюжет его в двух словах не пересказать, впрочем, это потому, что никакого сюжета не было. Высокий мужчина гулял у меня всю ночь, так как на него напала бессонница, и, по существу, я аккуратно описал все то, что повстречалось ему на пути: собачку, одинокую девушку, постового милиционера... Тем не менее рассказ мне очень понравился. Понятно, мне не терпелось, чтобы мое мнение кто-нибудь разделил, и я с нервным чувством стал дожидаться, когда проснется жена, хотя я с большей охотой прочел бы рассказ первому попавшемуся прохожему.

Едва жена продрала глаза, как я ей соврал, что будто один мой приятель давеча принес прочитать рассказ, который он сочинил, и пробубнил ей все шесть страничек.

— Какое будет мнение? —сказал я и затаился. — По-моему, ничего.

— Поди поставь чайник, — сказала жена.

— Так какое будет мнение-то?

— Отстань ты со своими глупостями, поди поставь чайник, — сказала жена и потянулась.

Если бы меня публично оскорбили, я, вероятно, не был бы так огорчен. Поскольку я уже мыслил литературными категориями, я подумал, что в душе у меня руины и пепелища. «Ладно, — сказал я себе, — будем собирать вещи. Лет через пять, когда я стану великим писателем, вы пожалеете, но будет поздно. Вам останется ходить и хвастать, что вы жили со мной бок о бок»

И все же реакция жены на мой первый рассказ поселила во мне сомнение. На другой день я его снова перечитал и неожиданно обнаружил много несуразностей и просчетов. На третий день мне уже было совестно его читать. Рассказ оказался до того нехорош, что не было смысла его переделывать, и я сел писать новый.

На этот раз дело у меня пошло туго. Я одиннадцать раз начисто переписывал начало, и в конце концов мне пришло в голову, что не худо было бы прежде заняться теорией литературной работы с тем, чтобы хорошенько во всем разобраться. Я взял в нашей библиотеке несколько классических книг и сел разбираться. Вот что я вывел: во-первых, каждый рассказ должен иметь в основе какую-то определенную тему. Во-вторых, рассказ — это такая материя, которая не допускает ни одного лишнего вздоха, и если у вас, положим, птичка поет, то она обязательно должна будет петь со смыслом, отвечающим данной теме. Прежде чем я сформулировал для себя остальные выводы, произошло событие, распутавшее узы Гименея, то есть мы с женой развелись.

Как-то я прихожу из библиотеки и застаю дома жену, которая сидит на стуле в торжественной позе, тещу со страданием на лице, тестя...

— Нам нужно серьезно поговорить, молодой человек, — начинает тесть, — так дела не делаются. Ты, понимаешь, не работаешь, баклуши бьешь, а кто за тебя жену будет содержать?

Я действительно позабросил свою вневедомственную охрану, она как-то выпала у меня из головы, но возразить мне было нечего. Не скажешь же в самом деле, что я теперь втихомолку ношу одно высокое звание, которое освобождает человека от такой, например, глупости, как зарабатывание денег. Я было хотел возразить, что моя жена не девка, чтобы ее содержать, но тоже передумал.

— Так как дальше жить будем? — сказал тесть. — Дурака будем валять или возьмемся за ум?

Поскольку мне нечего было ответить и на этот дурацкий вопрос, я повернулся и ушел из дома. Как раз в этот день мне явился один чудесный сюжет, и меня рассердило, что эти дураки мешают рождению новой литературы, так рассердило, что я пошел к нашему дворнику, с которым водил компанию, чтобы напиться в третий раз в жизни. Напиться, уже не припомню, по какой причине, не довелось, но тем не менее дворник меня успокоил.

— Наплюй! — уверенно сказал дворник. — Они тебе слово, а ты ноль внимания, фунт презрения.

Я вернулся домой поздно вечером. Жена, теща и тесть сидели в тех же позах. Я взял стул и уселся напротив них. Тесть как ни в чем не бывало опять завел свою музыку. Он гудел, гудел, доводя меня до исступления, так что, в конце концов, я решил как-нибудь неслыханно созорничать, чтобы отвадить эту компанию от разговоров. Я еще не знал, что именно натворю, но мне уже стало так весело, что я засмеялся. Все трое насторожились. Тогда я упал со стула на четвереньки, постоял так, поматывая головой, и пошел на четвереньках вокруг стола. Совершив круг, я опять уселся на стул и сделал сосредоточенное лицо.

— Сумасшедший! — закричала жена. — Посмотрите, он же сумасшедший!

Вскоре после этого мы развелись. Я переехал к матери, некоторое время мы жили вдвоем, но потом матери дали комнату, и я зажил сам по себе.

Тут мне открылись исключительные возможности для моих литературных занятий. Я очень скоро покончил с теоретической частью и занялся созиданием собственного языка, без которого немыслима настоящая писательская индивидуальность. С легкой руки Эрнеста Хемингуэя в те времена рассказы писались так называ-

емым телеграфным стилем, я уже в пику тогдашней моде взялся писать витиевато, сложными, грузными предложениями и однажды написал предложение, которое заняло полторы странички. Когда я почувствовал, что слог есть, я начал писать рассказы.

К моему великому огорчению, работу приостановили трудности самого что ни на есть житейского порядка, имеющие только то отношение к литературе, что на голодный желудок не так живо пишется. Я нечаянно обнаружил, что у меня совсем нет денег. Впрочем, не успел я как следует огорчиться, как моя мать, которой, видимо, было лестно, что я записал, пообещала мне до первого гонорара выдавать еженедельно десять рублей. Даже в нашем, на редкость сердечном, народе единственный человек, на которого можно до конца положиться, — мать.

Я произвел подсчеты, и у меня вышло один рубль сорок три и семь десятых копейки в день. Эти деньги я разложил по следующим расходным статьям: одна пачка кофе — 46 копеек, один килограмм картофеля — 10 копеек, одна буханка ржаного хлеба — 18 копеек, пачка сигарет — 14 копеек; итого — 88 копеек. Сюда я приплюсовал затраты на лук и грудинку, которые я покупал раз в неделю, и ежедневный расход достиг одного рубля тридцати копеек. Оставшиеся двенадцать и семь десятых отводились на транспортные расходы и разные особые случаи. Три раза в неделю я варил себе большую кастрюлю горохового супа, который я очень люблю, и поэтому отсутствие разнообразия меня нисколько не угнетало.

Когда материальная сторона дела была устроена, потребовалось уладить одну техническую деталь: мне понадобилась пишущая машинка. Сначала я мыкался по знакомым, имея в виду ее одолжить, но ни у кого машинки не оказалось. Машинку пришлось покупать, и я занял тридцать рублей, которые, впрочем, намеревался

вернуть в самом ближайшем будущем, как только гонорары потекут ко мне в три ручья. В комиссионном магазине я за двадцать восемь рублей приобрел старинную пишущую машинку фирмы «Рейнметалл» и на два рубля накупил канцелярской дряни. Моя машинка оказалась многострадальным аппаратом, в ней что-то позванивало, попискивало и время от времени скрежетало. но нужно отдать ей должное, работала она безотказно и до сих пор хранится у меня в годности на антресолях. Конструктивно в ней было что-то от Эйфелевой башни.

Писать я положил по четырнадцать часов в сутки. Я вставал в восемь часов утра, варил себе маленькую кастрюлю кофе и садился за подоконник, так как у меня не было никакого стола. Первым делом я аккуратно раскладывал все, что может понадобиться: пепельницу, сигареты, спички, лезвие, резинку, бумагу, ручку и несколько великолепно отточенных карандашей. Некоторое время я менял все эти предметы местами, пока не достигал определенной гармонии, нужной прежде всего для того, чтобы ею занялось нечто сидящее у меня внутри, что, собственно, и писало. Потом я долго смотрел в окно. В зависимости от погоды, настроения и происходящего за окном это смотрение могло продолжаться от нескольких мгновений до полных суток. Затем я брался писать, если нечто сидящее у меня внутри не отказывалось писать. Это была мучительная работа, но мучение было сладким, вроде того, какое испытываешь, когда вытаскиваешь себе занозу из пальца.

Почти не выходя из дому и ни с кем не видясь, я прописал всю зиму. К весне у меня было готово четыре рассказа. Один фантастического направления, один из деревенской жизни и два с большой идейной нагрузкой. Каждый я писал так долго и тяжело, что был о них никакого мнения. Единственное, что я мог бы о них сказать, это то, что они были не хуже рассказов, которые тогда выходили в свет. В один прекрасный день я на-

брался смелости и отнес их в журнал, имевший в те годы громкую популярность. Из этого журнала я получил жестокий отказ.

Впоследствии я получил так много отказов, что их набралось пухлых четыре папки. Отказы были разные; были лаконические: «Уважаемый товарищ Воробьев! Редакция рукописи во втором экземпляре не принимает»; но были и пространные отказы, на многих листах, чрезвычайно умные. Впрочем, все они сходились в одном: мне советовали плюнуть на писание и заняться чем-нибудь путным. Я долго оставлял этот совет без внимания и продолжал мучиться вопросом: писатель я или же не писатель?

Сейчас я могу ответить на этот вопрос: я не писатель. Вообще любой настырный человек, однажды засаженный за письменный стол какой-нибудь жизненной неудачей, со временем неизбежно сделается профессионалом. Что же касается писателя в русском смысле этого слова, то писатель это не тот, кто пишет, и не тот, кто печатается, — писатель это тот, кто писатель. Сейчас меня занимает другой вопрос: зачем это было у меня в жизни, что, собственно, имелось в виду?

Мое писательство продолжалось около двух лет, и я не успел дописаться до такой степени, чтобы не в чем было выйти на улицу. Эти два года подарили меня следующим образом: я хорошо пишу письма, я способен совершенно освоить художественное произведение, даже в большей степени, на какую может рассчитать автор; наконец, на закате писательства я был вхож во вторую по счету артистическую компанию, которая составилась из таких же бедолаг, каким в те годы был я. Я тогда вообще легко сходился с людьми, но особенно легко я сошелся с отверженными служителями муз, которых в шестидесятые годы развелось чрезвычайно много.

Наша компания по преимуществу состояла из литераторов, но были еще художники, один композитор и

даже один человек, который доказывал теорему Ферма. Когда мы собирались провести вечер, что случалось почти каждый вечер, то занимались исключительно тем, что читали собственные произведения и ругали чужие. Меня всегда поражало то, как дельно и умно у нас наводилась критика; если бы мы так умели писать, как умели ругать друг друга, вероятно, наша компания дала бы плеяду выдающихся литераторов.

Писать, насколько я теперь понимаю, из нас не умел никто. Видимо, оттого мы и собирались, в компании это было не так заметно. Но вскоре у нас появился один настоящий поэт, и компания немедленно развалилась.

С виду этот поэт был невзрачен, и хотя он фрапировал — зимой он ходил в валяных сапогах, — ничего не помогало, он оставался маленьким человеком с острым носом и лысиной, похожим не на выдающегося русского поэта, каким он оказался впоследствии, а на плотника, сантехника, бухгалтера, словом, на кого угодно, только не на поэта. Но когда он брал в руки гитару и, наигрывая простую мелодию, читал нам свои стихи, ну, положим: «Широко на Руси машут птицам согласные руки...» — у меня наворачивались слезы. Я смотрел на него и удивлялся тому, что у него такие же пальцы, как у нас, такие же зубы, и что он курит, как человек.

Помню, однажды он сидел напротив всей нашей братии и бросал в нас зажженными спичками, а мы, удивительное дело, не обижались. Он бросал в нас зажженными спичками и приговаривал:

— Почему у вас везде хороший конец? Это религия, надувательство, потому что у жизни всегда бывает плохой конец — в конце своей жизни человек умирает.

Вскоре после того, как развалилась моя вторая артистическая компания, я бросил писать, как бросают курить, пить водку, как начинают новую жизнь. 11 января 1964 года я сказал себе: «Молодой человек, вы не избранник». Я сказал это так, как говорят себе: я умираю

11 января я связал в одну кипу свои рассказы вместе с рецензиями и черновиками, облил керосином и сжег в дальнем конце двора, за детской площадкой. Два года жизни, два года страданий и великолепных надежд весело занялись и сгорели почти мгновенно, напоследок пахнув на меня горьким дымом.

После этого мне вроде бы полегчало. Мне вот отчего полегчало: надо думать, я занимался литературой не потому, что во мне клокотал талант и я не мог ею не заниматься, а потому, что писательство было для меня единственной лазейкой из бессмысленной жизни в осмысленную жизнь. Можно прямее сказать: я писал, чтобы оправдать свое человеческое присутствие. Но когда оказалось, что я не избранник и эта лазейка захлопнулась у меня перед носом, мне вдруг полегчало; такое бывает, когда ищещь какую-нибудь пропажу, ищешь, а потом махнешь на нее рукой, и тебе вдруг сделается легко.

После этого я стал искать другие лазейки: мне позарез было нужно осмысленного бытия. Некоторое время я полагал, что смысл жизни может заключаться в продолжении рода, которое обеспечивает постепенное накопление человечности, для чего двадцати восьми лет я женился во второй раз. Разумеется, жизнь не может быть оправдана даже идеальным исполнением родительских обязанностей. Если вся человеческая энергия уходит исключительно на созидание человеческой энергии у потомства, с тем прицелом, чтобы и потомство целиком посвятило себя тому же занятию, то кто, спрашивается, будет дело делать? Ведь в этом случае жизнь становится похожа на печку-буржуйку, которую я держу на даче: как ты ее ни топи, сама по себе она нагревается, но нисколько не согревает окружающее пространство.

В результате дальнейших поисков смысла жизни в 1965 году у меня родился сын Николай. Этому обстоятельству я обязан не только комиссией быть отцом, но и следующим открытием: проследив начало еще одного

житейского цикла, я пришел к заключению, что в качественном отношении человечество не становится лучше. Правда, хуже оно тоже не становится.

Вдруг из кухни до меня долетает крик. У меня сердце обрывается, я уже собираюсь бежать на кухню, как на пороге моей комнаты появляется Николай. На лице у него мученическое выражение.

— Что случилось? — говорю я.

— Папа, — говорит он чуть не плача, — папа, я себе палец прищемил...

От жалости у меня саднит под сердцем.

— Иди сюда, моя радость, — говорю я, — сейчас поглядим, что там такое с нашим пальцем...

Он садится мне на колени и подает указательный палец со ссадинкой у ногтя. Я начинаю дуть на больное место. Я дую и внезапно чувствую, что у меня на глазах набухают слезы. «Что это со мной? — спрашиваю я себя. — Отчего я плачу? Ах, да: это оттого, что у моего сына, единственного во всем мироздании близкого мне человека, ссадинка на указательном пальце, что ему больно, и эта боль отзывается во мне болью». Но это еще не все; затем мне приходит на ум, что вот я прожил сорок лет с хвостиком, а кроме сына у меня действительно никого нет. От одного этого заплачешь. Или вот еще какое горькое соображение: я прошел все начала, которые предстоит пройти моему сыну, но я ему не лоцман. Он мне дороже всех национальных доходов мира, а я не в состоянии вывести его на свет, и еще лет тридцать, покуда я не умру, мы будем вместе плутать теми дорожками, которыми до меня прошел мой отец, до отца — дедушка, до дедушки — прадедушка, а до прадедушки еще очень много разных людей. Разве это не страшно? Только одно, на мой взгляд, может навести некоторый покой: никто не знает, что значит жизнь. Весьма возможно, что мы принимаем за жизнь сумму таких вещей, которые либо представляют собой всего-

навсего отражение жизни, либо вообще не имеют к ней никакого отношения, и поэтому все наши недоумения и страхи так же нелепы, как языческие недоумения и страхи, отправлявшиеся вовсе не оттого, что действительно требовало размышления или чего нужно было бояться. Ведь какие вещи мы называем жизнью: рождение, учение, развлечение, лечение и переезды на другую квартиру. А между тем это, в лучшем случае, буковки, которые мы проходим, проходим; кажется, вот сейчас из них сложится великое, единственное слово, — нет, ничего не складывается, хоть плачь. Прав был мой товарищ по энтомологии Ковыряев: простое слово и то не складывается. Но если эти вещи все же не буковки, а и́менная жизнь, тогда плохо дело, потому что тогда и́менной жизнью будет и существование какого-нибудь хомячка, который, как и мы с вами, самостоятельно передвигается, добывает хлеб насущный, рождает потомство и меняет квартиры. Неужели от хомячка мы отличаемся только тем, что мы сознаем, что передвигаемся и меняем квартиры? Какая это была бы мизерная дистанция...

Я до того раздумался, что перестал дуть сыну на палец. Когда я сообразил, что перестал дуть на палец, я было опять стал дуть, но, видимо, боль уже улеглась: Николай затих, склонил голову мне на грудь и сейчас задумчиво пощупывает кончик термометра, который торчит у меня под мышкой. Я гляжу поверх его головы в окошко и вижу багряную полоску заката. Вдруг на меня нападает стих: мне хочется найти простые, правильные слова и рассказать сыну, что больше всего похожи на жизнь чрезвычайно редкие, торжественные минуты, которые почти невозможно пересказать, потому что в эти минуты у человека открываются чувства, еще не имеющие названия в языке. Внезапно вы начинаете с пронзительной силой ощущать самого себя, ощущать в таинственной, непостижимой связи с предметами и явлениями, которые вас окружают, и, кажется, будто вы совер-

шенно понимаете что-то, что-то чувствуете насквозь. Я замечал, что в такие минуты останавливаются часы.

Все остальное время люди ходят и что-нибудь делают. Повторяю, я не склонен называть это жизнью, это все буковки; ходить и что-нибудь делать может, например, шагающий экскаватор. Хотя мне представляется невероятным, чтобы на шестьдесят—семьдесят лет, отпущенных нам природой, приходилось лишь несколько минут настоящей, в том смысле, как я это понимаю, жизни. Тут опять недоразумение, о котором определенно можно сказать, что, как и прочие наши фундаментальные недоразумения, оно упирается в главную человеческую ошибку, а именно: странную моду всему человеческому подыскивать какой-то особенный смысл и высшее назначение. Это от беспокойства, оттого, что мы сознаем, что передвигаемся, точнее, изумляемся тому, что мы сознаем, что передвигаемся. Будем рассуждать так: в сущности, я отличаюсь от хомячка только тем, что мне даден разум, в остальном я такой же продукт природы, как хомячок. Но ведь природа слепа, возможно, в ее программу вовсе не входило наделять меня разумом, это получилось случайно, само собой, и не произойди, положим, в позапрошлую геологическую эпоху похолодания на одну десятую градуса, разум достался бы хомячку. Спрашивается: может быть, у хомячка какое-то высшее предназначение?

— Александр? — окликает меня жена; я вздрагиваю. — Ты до ночи собираешься мерить температуру?

Я вынимаю термометр. Он показывает 102 градуса — это по Фаренгейту. У нас ненормальный термометр, американский, жена говорит, что в девичестве он был подарен ей одним дипломатом, который якобы имел на нее виды.

— Папа, — вздыхает сын, — я хочу тебе сказать: я, кажется, влюблен. И, кажется, безответно...

Ну вот, начинается все сначала...



ТАРАКАНОВСКИЕ ЗАПИСКИ

Поздней осенью, ближе к зиме, я начинаю томиться. Я знаю, что вскорости выпадет снег, пойдут холода и всё сумерки, сумерки, потом пойдет хлябь, авитаминозное недомогание, потом все подсохнет, приготовится к чу́дному воскресению — и грянет май.

В мае мне всегда дают отпуск.

Что говорить, от мая до мая глаза вытаращишь, но никакая другая пора не погружает меня в такое изнурительное томление, как поздняя осень, когда дожидаешься, что, того и гляди, западают с неба белые мухи, а вместе с ними на лес и поле опустится остолбенелая тишина, — так дожидаешься, как будто без них не будет тебе ни мая, ни долгожданного отпуска. Но вот уже минул октябрь, ноябрь, вот уже потянулись первые декабрьские числа, а снега все нет, и, глядя в окно, я от нетерпения поскребываю по стеклу ногтями. Роща, видная из окна, давно стоит голая, земля окаменела, крыши облезли — неуютно, нехорошо, и все: и земля, и роща, и крыши, кажется, хочет сказать: «Это будет в нынешнем году снег или нет?» Но ведь будет, обязательно должен быть, куда ему деться... Потом установятся холода, потом придет авитаминозное недомогание, и, наконец, грянет май, чудо-май, сказка-май, май-благодетель.

В самом начале мая, когда воздух пахнет одеколоном, у нас с женой начинаются недоразумения, так как она подбивает меня ехать с нею в пансионат, а я ни в какую; знаю я этот пансионат, там даже речка называется Кляуза... Примерно к концу первой декады мая я насмерть разругаюсь с женой и подниму паруса. Каждый год я путешествую в одиночку.

Вот даже не скажу, откуда пошло это обыкновение— путешествовать в одиночку. В лучшем случае, я могу перечислить побудительные моменты, как-то: душевные разговоры с незнакомыми мужиками, ночи у костра, когда сидишь один-одинешенек и млеешь от разных мыслей и так далее, но вывести из них формулу я затрудняюсь. Могу только сказать, что нет ничего приятнее путешествия в одиночку, я в эту пору даже преображаюсь, я делаюсь неузнаваемым человеком, и двадцать четыре дня меня не покидает такое чувство, какое должно быть у бабочки, после того, как она превратилась в бабочку из противного червяка.

Это не касаясь познавательной стороны дела. Между тем во время своих путешествий я порой натыкаюсь на такие головокружительные открытия, которыми грех бывает не поделиться. Например, прошлым летом я открыл удивительную и, насколько я понимаю, малоизвестную страну.

Открытая мною страна представляет собой равнинную территорию площадью примерно в сто пятьдесят квадратных километров, со своей столицей — городом Таракановым, ошибочно обозначенным на карте населенным пунктом районного подчинения, четырьмя деревнями: Кувшиново, Желанье, Никола и Ремешки, речной Царек и еще целой пропастью достопримечательностей. Открытие было сделано, как вообще делаются все открытия, — невзначай.

Прошлым летом я отправился в наши северо-восточные области. Я сошел с поезда в городе Б., посетил тамошний краеведческий музей, потолкался на б-ских улицах среди горожан и к полудню вышел за городскую черту. Я прошел по шоссе километров пять, затем сел в попутный молоковоз и спешился у поворота на какой-то проселок. Шофер денег с меня не взял, это меня приятно разволновало, и я настроился на лирический лад. Вскоре мое волнение разрослось в предчувствие, предчувст-

вие доброе, но одновременно похожее на стеснение в грудной клетке, и я подумал, что либо заболеваю, либо стою на пороге необычайных событий; не прошло и дня, как мое предчувствие подтвердилось.

После того как я распрощался с шофером молоковоза, я с полчаса двигался обочиной пыльного, колдобистого проселка, из тех, на которые особенно сетовал Гудериан, и этот проселок в конце концов привел меня в деревню Углы. Дальше дороги не было.

В Углах я взял в магазине две бутылки прокисшего лимонада, отошел за околицу, выбрал себе местечко на горке, часть которой занимал деревенский погост, и, усевшись, разложил на коленях карту. Деревни Углы на ней вообще не было. Зато был проселок, который еще километров на пятьдесят тянулся от места моего нахождения к северо-западу, пока не соединялся с каким-то шоссе. Впрочем, это была крупномасштабная карта, и я не нашел ничего удивительного в том, что на ней был обозначен проселок, которого не было, и не значилась деревня Углы, которая определенно была.

Я привык верить картам. Я допил лимонад, взвалил на спину рюкзак и отправился искать злополучный проселок. Когда я шел через деревню, мне попалась старушка, сидевшая на скамье у ворот; я стал было ее расспрашивать о проселке, но старушка оказалась глухонемой. На все мои расспросы она только неприятно мычала и вытягивала голову в сторону леса. Возможно, она имела в виду что-нибудь старушечье, свое, но я решил, что она указывает на проселок, и пошел в сторону леса.

Я отыскивал проселок, чуть ли не ползая по земле, покуда мне на глаза не попалось нечто отдаленно напоминающее колею. Я подумал, что это и есть искомый проселок, и зашагал по нему, ободрясь до такой степени, что даже затянул песню «Привет семнадцатому пол-

ку». Однако минут через десять ходу я уже не различал под ногами никакой колеи. Я остановился. Я стоял на узкой поляне, окруженной со всех сторон высоким еловым лесом, который зловеще шумел и качал верхушками, как люди качают головами, когда им хочется сказать: эх, ты, гусь! Я подумал: а не воротиться ли назад, но какая-то внутренняя егоза стала мне нашептывать, что совсем скоро, за следующим поворотом, откроется вид с деревней, рощицей, прудом, зеленеющими полями, и я пошел дальше. Я шел, шел, но ничего в этом роде не открывалось. Лес между тем сделался гуще, сырее, ниже, пошел кустарник, потом пошел папоротник, но самое главное — стало смеркаться.

Нужно было останавливаться на ночлег. Я сел на кочку, закурил и прислушался к лесу. Было тихо, было так тихо, что явственно слышался звук выдыхаемого мной табачного дыма. Печальное чувство точно тронуло меня за локоть и потребовало действия: я погасил окурок и отправился искать воду, чтобы встать возле воды. Слева от меня трава была жирнее и выше, что по всем приметам указывало на близость реки или ручейка, и я пошел влево.

Сколько я ни шел, воды мне не попадалось, если не принимать в расчет коричневой жижи, которая скоро захлюпала под ногами, и я повернул назад, решив ночевать на пустой желудок. Но вот я иду обратным порядком уже минут десять, а вокруг меня становится все мокрей и мокрей. Жижа доходит уже до щиколоток, трава вырастает выше моего роста, так что я не в состоянии сориентироваться, а солнце, того и гляди, потухнет совсем. В довершение всего поблизости от меня проплыла, противно вытянув зубастую мордочку, фыркая и косясь в мою сторону, какая-то тварь, скорее всего водяная крыса, и я содрогнулся от омерзения.

Тогда я остановился и, сообразуясь с западом, который мне указывало еле-еле тлевшее небо, стал вычис-

лять дорогу назад. Кажется, я точно вывел, что мне следовало держаться западного направления, так как прежде мне припекало в спину, и я с надеждой пошел на темное облако с золотой каймой, которое немного отдавало в багрянец, точно набухло кровью. Я долго шел, постепенно выбиваясь из сил, но мне не было дороги назад, и в голову полезли мысли о сверхъестественном: о леших, путающих прохожих, о четвертом измерении и о землях, на которых не ступала нога человека. Я шел зарослями пахучей до отвращения, до обморока травы, а путеводительное облако таяло, таяло, бросая меня на произвол судьбы.

Вдруг прорезались звезды, и в ту же минуту с севера налетел пронзительный ветер, который начал свистеть в камышах, шевелиться в чудовищно высокой траве, и мне почудилось, будто вокруг меня заговорили на каком-то диком наречии. Мне сделалось так жутко, что из глотки чуть было не вырвался отчаянный вопль; только мужское чувство помешало ему вырваться: я захлебнулся воздухом и долго не мог отдышаться.

Все, что было потом, помнится мне туманно. Помню, всю ночь я брел почти по пояс в воде, которая булькала и завихрялась вокруг меня в маленькие водовороты. Через каждые десять — пятнадцать шагов я останавливался передохнуть, и на меня неизменно наваливались мысли о том, что при каждом последующем шаге я могу провалиться или же угодить в трясину, о том, что часа через два я совершенно выбьюсь из сил и утону, как только споткнусь. Мои смертные мысли были настолько нешуточны, что временами во мне поднималась гибельная тоска, а вместе с ней несказанная жалость к себе и ко всему тому, что я покидаю; в эту ночь я узнал, что значит умирать. Я чрезвычайно ясно себе представлял, как часа через два, когда ноги перестанут меня держать, я буду бессильно барахтаться в стоячей, зловонной жиже, мерцающей серебром, как она, в кон-

це концов, сомкнется у меня над глазами, и вдруг закачается, мутно видимая сквозь воду, луна. В это мгновение я, наверное, захочу завопить от ужасной прощальной муки, но в открывшийся рот хлынет вода, я подавлюсь, и на этом все кончится. Главное, эта картина убивала меня не столько совершенной своей вероятностью, сколько тем, что ее жутко было видеть со стороны.

Не скажу, через которое время, скорее всего незадолго до захода луны, я набрел на такое место, где воды было по грудь, — это я вышел к реке. Ничего подобного я прежде не видел. Среди зарослей тростника пролегла широкая водяная дорога. Берегов как таковых у этой реки не было, и узнавалась она по тому, что с боков вода была неподвижна, а в русле она прямо-таки неслась, рябясь и закручиваясь в спирали, отчего при свете луны производила чешуйчатое впечатление. Это было зловещее и торжественное полотно.

Теперь уже ничто не загораживало мне взгляда, и я увидел, что метрах в двухстах от меня темнеет высокий лесистый берег, увидел стога, белеющие тучными привидениями, и даже услышал, как где-то поблизости сонно фыркает лошадь. Все это произвело на меня живительное действие. Я вспомнил, что окрест, совсем рядом, существуют деревни, дороги, покосы, люди, нормальная жизнь, и так обрадовался, что зашлепал ладонями по воде. Я решил во что бы то ни стало добраться до противоположного берега. Вплавь реки мне было не преодолеть, рюкзак не пускал, и я понадеялся на то, что, быть может, перейду ее вброд. Я сделал несколько шагов по направлению к лесистому берегу, но тотчас ушел в воду по самые ноздри и, бешено загребая руками, вернулся назад. Вот уж действительно, близок локоть, да не укусишь.

Я долго стоял, с тоскою глядя на противоположный берег, потом повернулся к нему спиной, которой, кажет-

ся, продолжал его видеть, и поплелся прочь. Я был на пороге полного истощения сил.

Вскоре стало светать. Над водой закурился туман, и в какие-нибудь четверть часа я был совершенно окутан газообразным молоком, так что не видел ничего, кроме кончика собственного носа, да и то, если прищуривал один глаз. Я шел наобум, задыхаясь и думая только о равновесии. Но вот я замечаю, что вода доходит мне до колен, потом до икр, потом только до щиколоток, наконец, она всего-навсего жалко похлюпывает под ногами. Кажется, я на суше. Я делаю еще десяток шагов, ступая в мягкую траву, — точно, на суше. Я успеваю разглядеть под ногами ромашки, а потом валюсь, подминая их под себя, и засыпаю смертельным сном.

Когда я проснулся, солнце было уже высоко. Я сел и стал протирать глаза, обоняя горький запах ромашек. Пока я протирал глаза, я несколько раз спросил себя, хорошо ли мне, и отвечал, что да, хорошо: в то время как я спал, солнце высушило меня, в голове было свежо и просторно, а на душе затаилось приятное ожидание. Вслед за этим я осмотрелся. Никакого болота не было и в помине, зато передо мной простиралась картина, которую давеча предсказывала внутренняя егоза. Я увидел равнину с темными пятнами рощ и темными лентами перелесков, с речкой, отдававшей в ультрамарин, с нежными квадратами будущих хлебов и деревней. Деревня была большая. Она выстроилась птичьим клином вдоль изгиба реки, посреди поднималась ослепительная колокольня, на задах дымились металлические дымки,— видно, топили бани.

Вот так я попал в удивительную и, насколько я понимаю, малоизведанную страну, о которой, собственно, и пойдет речь. Возможно, назвать открытую мною местность страной — преувеличение, но иначе нельзя. Хоть и говорят здесь по-русски, и носят русские имена, и праздники те же русские, и колхозы те же, то есть все

вроде бы так, но — что-то не так. Одним словом, страна...

Попадают сюда необязательно через болото, и вообще эта страна, как говорится, у нас под носом, но сообщить точные координаты я все-таки отказываюсь. Понаедет всякая дрянь, нечистые на руку собиратели старины — нет, отказываюсь... Заявляю только, что эта страна лежит в пределах нечерноземной России, но этак чуть северней и восточней.

1. ДОБРЫЙ ФИЛЯ

После того как я хорошенько рассмотрел пейзаж, внезапно вставший передо мной, я подхватил рюкзак и тронулся в путь, ориентируясь на деревню. Вскоре мне попалась дорога, которая шла под откос, и, немного спустившись, я увидел большое стадо, прежде скрытое от меня склоном холма.

Несколько в стороне я увидел пастуха, сидящего на земле. Он был в кепке, надвинутой на глаза, и в брезентовом плаще с капюшоном. Это был первый человек, которого я повстречал с вечности прошлой ночи, и поэтому я разглядывал его долго, с нежностью, как родного. Затем я свернул с дороги и напрямки зашагал к нему.

Против моего ожидания и всеобщего представления о пастухах, это был очень молодой человек, самое большее лет двадцати пяти, а впрочем, давать правильные годы я не мастак. У него было удивительное лицо, не то чтобы красивое или отмеченное какой-нибудь благодатью, а такое, что, попроси он у меня взаймы, я бы вывернул все карманы. Он был слегка рыжеват, веснушчат и серо-голубоглаз. Определенно красивыми у него были губы, розовые, сложенные в обиду, и подбородок, который обыкновенно называют мужественным. Вот только зубы у него подкачали, они были маленькие и испорченные до такой степени, что походили на гвóздики.

— Пасешь? — сказал я, подойдя к нему. Наверное,

можно было сказать что-нибудь более путное, но я не нашелся.

— Пасу.

Я уселся возле пастуха и стал кусать травинку. Я думал, как бы мне с этим парнем разговориться, но не нашел другого предлога, кроме товарищеской закуски, и предложил закусить. Пастух оживился. Пока я копался в своем рюкзаке, выкладывая закуску, пастух непонятно откуда достал бутыль. Эта бутыль была невероятных размеров, оказалось в ней вино, которое имело вкус испортившегося пива, а пахло пороховой гарью. Разговорились.

Пастуха звали Александром, но у него было прозвище Добрый Филя, которое обыкновенно и употреблялось. Он объяснил, что в здешних краях так называют всех пастухов без разбору, почему — он объяснить не мог.

— Может быть, из-за стихотворения? — сказал я. — Есть такое стихотворение:

Филя любит скотину,
Ест любую еду.
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду...

— А хрен ее знает! — сказал Добрый Филя. — Может, что и поэтому. Вообще народ у нас начитанный, так что это вполне возможно.

Далее: ему сорок лет, живет он в этих местах пятый год, сам не здешний, а из-под Ленинграда. Пять лет тому назад он отбывал заключение, а когда освободился, то осел здесь. На этот счет рассказ его был подробен.

— Смолоду я был, прямо скажем, малахольный товарищ. Ты вот, наверное, как человек, все науки прошел. А у меня: три шестьдесят две — вот и вся арифметика. Сел я в первый раз за ларек, еще пацаном. Потом покатилось. Я пять сроков отсидел, три — от звонка до звонка. В последний раз сидел за чернуху.

— То есть? — перебил я, так как не знал, что обозначает слово «чернуха».

— Чернушники — это кто документы подделывает, — сказал Филя Добрый.— Я у себя в трудовой книжке коекакие места причесал. Нормальному человеку за это в худшем варианте — выговор с занесением. А мне пять лет как за рецидив. С нами, брат, строго. Ну, освободился я, со справкой, с деньгами — ложку ломал...

— То есть? — снова перебил я.

— Когда освобождаешься. выходишь из зоны, то напоследок свою ложку ломаешь, чтобы, значит, уже ни ногой, на счастье. Такая примета. Ну, значит, ложку ломал, со справкой, с деньгами сижу на вокзале. Вдруг вижу — баба, молодая, из себя ничего. При ней угол.

Видимо, в этом месте у меня на лице опять изобразился вопрос, так как Филя прервался и без особого приглашения разъяснил, что углом называется чемодан.

— При ней угол, — продолжил он. — И нужно же иметь такой малахольный характер: ведь только что ложку ломал, а на угол гляжу и не могу оторваться. Ужасно хочется его увести, удовлетворить свою преступную склонность. Тем более что баба оказалась чудная, халатная какая-то, все бегает, а на угол никакого внимания. Ну, терпел я, терпел — увел-таки угол. Хрен его знает, почему я был такой человек, что на безнадзорную вещь не мог спокойно смотреть. Прямо всего свербило. Я теперь думаю: главная причина, что я за людей никого не считал. Ну, не то что там за людей, а за ровню. Кроты, все говорил, оглоеды. А с такой точкой зрения, я тебе скажу, не то что угол увести — человека убить не жалко. От дикости это, я так теперь понимаю, кочевник я был, скотовод какой-то. Ну, увел я угол, заперся в уборной, — город какой-то попался, я таких и не видел сроду, в уборной кабинки, и каждая запирается. Открыл я замочки, а там все книги... Ну, я горевал!

— И что это были за книги? — поинтересовался я только ради того, чтобы вставить слово.

— Разные книги. Больше всего мне понравился «Бежин луг». Я его, наверное, раз сто читал.

Трудно сказать почему, но в течение Филиного рассказа я чувствовал себя натянуто и неловко, точно это я был виноват в том, что на него свалилось столько несчастий. Немудрено, что когда Филя замолк и нужно было из вежливости что-нибудь сказать или спросить, я спросил чепуху.

— А сейчас что читаете? — спросил я.

— Вот! — сказал Филя и вытащил книгу. Это был томик Петрарки. — В будущее воскресенье у нас в клубе вечер, отмечается юбилей — шестьсот пятьдесят пятая годовщина первой встречи с Лаурой. Я делаю вступительное слово. Если интересуешься, заходи.

Филя замолчал. Время было заполуденное, тихое, сонное. Только мухи жужжали и время от времени позванивала колокольчиком гнедая корова. Позвонит и поднимет голову, точно очнется от дремы.

— Ну, я пошел, — сказал я. Молчание меня разморило.

— Путь-дорога! — сказал Добрый Филя и простер руку на манер Юрия Долгорукого. — Вот это будет Никола. Если встанешь, то вечером заходи, заночуем. А то к другому кому-нибудь попросись, это у нас свободно. А от Николы дорога на Ремешки, а за Ремешками развилка: направо дорога на Тараканов, налево на Желанье.

«Желанье...» — сказал я про себя, приятно удивившись такой топонимике, и отправился в путь. Я уже отошел метров на пятьдесят, когда Филя меня окликнул. Я обернулся.

— Вот ты мне скажи, — крикнул Филя. — почему я такой малахольный человек? Пока все несчастья не превзойду, нет мне никакого пути! В чем тут причина?

— Кто прямо ездит, дома не ночует, — ответил я,

но, видимо, ответ Филю не интересовал, так как он уже отмахнулся рукой и глядел в противоположную сторону.

Я пошел дальше. Я шел и думал о том, почему это античные мыслители так настаивали на философствующих пастухах.

2. ТЕОРИЯ НЕБА

Через полчаса я пришел в деревню Никола. Первая достопримечательность: околицы не было, то есть не было изгороди, нелепо торчащей с обеих сторон дороги. Вместо изгороди при въезде стояла табличка со следующей надписью: «Деревня Никола. Основана удельным крестьянином Мартыном Гвоздевым. Милости просим».

Что еще я увидел достопримечательного... Деревянные тротуары, наподобие тех, которые были распространены в средневековой Руси. Больше вроде бы ничего. Те же темные избы, крепенькие и коренастые, как рабочие люди, тот же колодец-журавель, те же куры, утки и гуси. На деревенской площади, в самом центре, оказалась вечная, непросыхаемая лужа. В луже стоял поросенок и задумчиво смотрел на свое отражение.

Площадь, правда, навевала ощущение маленького городка. По одну ее сторону находилось здание сельсовета, каменное, очень приличное, а по другую — керосиновая лавка и магазин. Прямо — стояла церковь с классической колокольней; в церкви был клуб. Я припомнил, что в будущее воскресенье Добрый Филя скажет здесь вступительное слово о первой встрече Лауры с Петраркой, и хорошо улыбнулся.

Вообще Добрый Филя, первый попавшийся мне таракановский гражданин, настроил меня на предчувствие встреч необыкновенных, и, будучи в Николе, я главным образом оглядывался по сторонам, отыскивая, с кем бы еще потолковать. Но деревня была пуста. Только когда

я проходил мимо очень маленькой фабрики, наверное прядильной, распространявшей приятное жужжание, фабрика неожиданно встала, и множество женских лиц появилось в окнах, провожая меня любопытными и ласковыми выражениями. Я застеснялся, потупился и отошел только тогда, когда у меня за спиной возродилось приятное жужжание.

К тому времени, когда я миновал Николу, уже свечерело и пала роса. Я шел дорогой на Ремешки, примериваясь, где бы устроиться на ночлег, пока не набрел на поляну, которую перебегал прозрачный ручей. Я разложил костер и, поставив кипятить воду, постелил с подветренной стороны костра спальный мешок, прилег на него и загляделся в огонь.

Уже стемнело и пропали все звуки, уже на западе прорезалась Венера, весенняя звезда, уже выкипело полкотелка воды, а я все смотрел в огонь и думал о том, почему вид огня до такой степени привечает и одурманивает человека, откуда в нем берется эта метафизическая сила, которая сбивает тебя с толку, начисто лишает способности мыслить и все что-то навевает, навевает... Я не верю в переселение душ и вечную память, но меня всегда одолевает первобытный восторг, когда я гляжу на скачущие чертиками оранжевые и фиолетовые языки, на пышущие синевой головешки, на искры, воспаряющие над костром и тухнущие, как воспоминания. Раньше, глядя в огонь, я декламировал про себя книгу Иова, но потом я ее позабыл.

Внезапно я почувствовал тень. Ужаснувшись, я поднял голову, и моему взгляду предстало жуткое зрелище. С противоположной стороны костра на меня в упор смотрело что-то громадное, загораживающее половину черного неба еще более насыщенной чернотой и страшно озаренное пламенем. В первое мгновение я был поражен, во второе насмерть перепугался, но в третье мгновение «что-то» оказало приятным голосом «доброго здра-

вия!», и поэтому в четвертое мгновение страх меня отпустил.

Это был мужик средних лет, в действительности самой заурядной комплекции, и я сказал себе: вот уж правда, что у страха глаза велики.

Я кивнул мужику и пригласил присаживаться. Он сел на корточки, и мы замолчали. Мы молчали, однако мне не давала покоя мысль, что́ может делать нормальный человек об эту пору в лесу. Вероятно, моя мысль была написана у меня на лбу, так как мужик вдруг оборвал молчание и сказал:

— Интересуетесь, почему я ночным делом брожу? Не спится... Я уже третий месяц совсем не сплю. Днем, само собой, в поле, а как станет смеркаться — сна ни в одном глазу. Даже наоборот: странная бодрость находит, если можно так выразиться — болезненная...

Он помолчал, подбросил в огонь сучок и вдруг завел удивительную речь.

— Вот вы небось неладное подумали, а в действительности я самый безобидный человек. Более того: я трагический человек. Всем своим существом я выражаю трагическое противоречие между вопросом и ответом. Вот тут, — мой собеседник ткнул себя пальцем в грудь, — засел один ядовитый вопрос, и нет мне от него никакого житья. Вопрос: при чем тут я? У-у, какой это подлейший вопрос! Зараза, а не вопрос, хуже глистов: все меня точит, точит, точит!.. Я от него и не сплю. Ходишь так по ночам, собак пугаешь, голова уже раскалывается от мыслей, а ответа все нет.

— Извините, я не совсем понимаю, в чем состоит вопрос, — перебил я.

— Сейчас объясню. Я раньше на звезды любил смотреть. Но без какой-нибудь задней мысли, так только смотришь, и у тебя на душе лестно становится. А потом меня это зрелище стало пугать, как погляжу — страшно. Вот тут-то и возник у меня вопрос: а при чем тут я?

Думаю: ладно, вот ночь, поле, дальше лес, тихо кругом, только светлячки свиристят, а над всем этим делом — звезды. С одной стороны, это все вроде бы так и надо, тут везде полное соответствие, но какое я имею к этому великолепию косвенное отношение? Лес — ладно, я его сжечь могу, но звезды? До сих пор не могу сообразить, при чем тут я? И сдается мне, что я при всем этом пятое колесо в телеге. Потому что нет во мне этого спокойствия, красоты и, главное, приспособленности. Сдается мне, что я при всем этом — как при обществе дурачок. Мы даже с мужиками затеяли по этому вопросу спор. Резолюция была: человек — царь природы. А я говорю: да какой же я, к ядрене матери, царь, когда во мне простого понятия нету, когда я с бабой своей справиться не могу?!

При этих словах мой собеседник изобразил на лице такое мучительное беспокойство, что у меня екнуло сердце. Но вдруг лицо у него посветлело, и он сказал:

— Слушайте, а чего мы с вами тут прохлаждаемся? Айда, ко мне! Картошки организуем, водочки, а?

Я пожал плечами и согласился. В первую очередь, я принял его приглашение потому, что чувствовал себя беспокойно, то ли еще с прошлой ночи, то ли оттого, что он меня напугал. А во-вторых, мне вдруг ужасно захотелось застолья. В нос даже ударил запах жареного картофеля, так мне захотелось застолья.

Мужик оказался николовский, звали его Семен. Пока мы шли обратно в Николу, разговор у нас был отрывистый и несущественный, видно, Семену было жаль продолжать главную тему всуе, но поскольку ему не терпелось ее продолжить, шли мы поспешно и были на месте через какие-нибудь пятнадцать минут.

В деревне не было видно ни одного огонька, и дома казались вырезанными из черной бумаги. Кое-где сонными голосами брехали собаки, но это только усугубляло впечатление тишины. Пискнула калитка, мы вошли

во двор, а затем в сени, где пахло отхожим местом. Скрипнула половица, откуда-то налетел сквозняк, и мы оказались в комнате, в которой белели ночным воздухом три окна. Семен щелкнул выключателем, комната осветилась, и мы услышали голос:

— Семен, ты, что ль, полуночник чертов?

Семен шепнул мне, что это его жена Клавдия, и громко приказал жене не бузить, а подниматься и по-хорошему накрывать на стол. Клавдия поднялась и стала накрывать на стол. Я напрасно беспокоился — это оказалась приветливая и вообще славная женщина.

Мы с Семеном уселись друг против друга, и скоро перед нами явились свежие огурцы, жареная картошка на гигантской сковороде, грибы с капустой и початая бутылка водки, закупоренная тряпочкой. Я так оживился, что даже стал заикаться. Между тем, Семен разлил водку в два граненых стакана, сцедив ее до последней капли, мы чокнулись, выпили, крякнули, закусили.

— Ну, так вот, — стал продолжать Семен, брызгая крошками. — Спорили мы с мужиками, спорили, так к одной точке и не пришли. Но им что? Они, паразиты, по ночам дрыхнут, а я все таскаюсь...

Семен сделал паузу, поел картошки, потом пристально посмотрел на свою вилку и вдруг швырнул ее на пол.

— Дело было в крещение. Мороз — спасу нет! Стою я это у себя на крылечке, гляжу на небо, и тут меня как обухом по голове. Эврика! Точно по писаному мне все разъяснилось. Целая теория пришла на ум. Вот спросите меня, что такое гипноз...

— Ну что такое гипноз?

— А то, что в каждом человеке есть такая скрытая сила. Это такая природная сила, она все связывает в один узел, вселенную с человеком, человека с букашками, букашек с погодой. Скажу больше: эта сила передается нам через звезды. Звезды источают ее в виде гипноза, на все народы Земли ее льют в неограничен-

ном количестве. Поэтому бывают предсказатели по звездам. Вот, собственно, и все. Как вам теория?..

Я пожал плечами и улыбнулся. Тогда Семен сделал бешеные глаза и стал бегать ими по скатерти, возможно соображая, что бы еще швырнуть на пол, но ничего не нашел и просто ударил по столу кулаком.

— Ложь! Все ложь! Курам на смех оказалась моя теория. Стоило провести пару опытов, как все пошло псу под хвост. Я тут, конечно, не виноват, если кругом непознаваемость, временная, а все ж таки непознаваемость. Но ведь мне от этого не легче!..

Речи Семена меня убаюкали. Он еще довольно долго распространялся, а я смотрел на два фотографических портрета, изображавших Семена и Клавдию, испуганных, с вытаращенными глазами, и меня неодолимо клонило ко сну. В конце концов, Семен заметил, что я совсем сплю, и пошел стелить. Я попросился на сеновал.

Спалось мне отчаянно хорошо. От свежего воздуха и крепкого запаха сена проснулся я очень рано. Утро было великолепное. Я вышел на двор, потянулся, постоял на утреннем ветерке и пошел в избу за Семеном, но он уже был на работах. Клавдия проводила меня до калитки. Когда я уже стал благодарить и прощаться, она замялась и сконфуженно на меня посмотрела. Я подумал, что Клавдия намекнула на рубль за ночлег, во мне все потухло, и я потянулся правой рукой в карман, но она вдруг заговорила совсем о другом.

— Вы, — говорит, — человек городской, посоветуйте, к кому мне с мужем моим обратиться.

— А что такое? — спрашиваю.

— Чудит, — отвечает Клавдия. — Первое дело, что по ночам не спит и вообще, а ведь я как-никак женщина, это тоже нужно принять во внимание. Потом в другой раз смотрит на меня как угорелый, гипнотизирует, говорит, а мне страшно. А в зиму такое выкинул, что и сказать совестно. Взрослый человек, а глупостью зани-

мается. Он себе по звездам смерть предсказал. Умру, говорит, через неделю или больше. Я, конечно, посмеялась, ведь здоровый как мерин. Но прошла неделя или больше, является он выпимши и такой печальный-печальный. Меня запер, а сам взял веревку и на сеновал. Я, конечно, орать, но, вижу, он ноль внимания, взяла топор и высадила дверь. Прибегаю на сеновал, а он там петлю привязывает, говорит, не хочу позорить науку...

Я ничего не мог посоветовать Клавдии. Напротив, я мог бы сказать много хорошего о ее муже, но не сказал. Я побоялся за репутацию городского человека.

3. ИСТРЕБИТЕЛЬ

К полудню я был уже в Ремешках. Описывать их надобности я не вижу, так как Никола и Ремешки совершенные близнецы, разве что в Ремешках не было лужи.

По прибытии в Ремешки первым делом я направился в почтовое отделение, чтобы дать домой телеграмму, но почта была закрыта. Я часа два просидел на ступеньках почты. Уже школьники пошли по домам, а я все сидел и развлекал себя чепухой: чертил прутиком знаки Зодиака, кормил кур, а раз поймал муху и долго слушал, как она бьется у меня в кулаке.

Примерно через час после того, как прошли школьники, возле почты появился странный субъект. Это был маленький и очень подвижный человек в сапогах, в пиджачке с лацканами, которые словно завили на бигуди, и с белыми пушистыми волосами — при каждом дуновении ветра они развевались у него ковылем. Он раза три обежал вокруг почты, закурил папиросу, выплюнул ее, опять закурил, снял и надел пиджачок, потом подошел ко мне и спросил:

— Не работает?

Я кивнул.

— Стало быть, опять не работает... — И вдруг он за-

вопил на такой высокой и яростной ноте, что у меня сердце оборвалось: — Это когда же будет предел этому безобразию?! Я, Мария, к тебе обращаюсь, слышишь или нет? Будет предел твоему халатному отношению, или мне придется принимать меры?

Я был ошеломлен. Все это вообще было странно, а главное, сколько хватало глаз, вокруг не было видно никакой Марии. Но тут я приметил, что вдалеке, домов за пятнадцать, бежит, на ходу повязывая платок, какая-то женщина. Крикун замолчал и стал свирепо глядеть ей навстречу.

Ближе к почте женщина перешла на шаг и закричала через одышку:

— Чего ты орешь, черт, Ястребок проклятый!

— А то я ору, дорогая Маша, что нужно совесть иметь, — сказал крикун вкрадчиво и достойно. — Ведь почта, Маша, это не частная лавочка, это советское учреждение, и тут нужно иметь соответственное отношение к труду. Это же прописи. И вот тебе мое последнее слово: если еще раз повторится подобная бесхозяйственность, то нам придется подать по собственному желанию.

— Вот паразит! Тебе-то какая забота, скажи на милость?

— Как гражданин! — странно ответил крикун и ушел.

Маша плюнула ему вслед.

Затем Маша отперла почту, и мы вошли. Маленькое помещение почты было поровну разделено низким барьером, стены были бревенчатые, на стенах висели ходики, два плаката и образцы для заполнения бланков. Пахло лежалой бумагой и сургучом.

— Вы уж извините, — сказала Маша, приняв мою телеграмму. — Тут у нас не город — корова, хозяйство вообще, и так света белого не видишь. Свои так прямо домой приходят, а чужих нет. Редко кто забредает. А

этот черт дождется: либо выселят его, либо голову проломят.

Я обрадовался случаю и стал расспрашивать Машу про крикуна. Выяснилось, что зовут его Перышкиным Михаилом и что прозвище его — Истребитель, или, уменьшительно, Ястребок. В молодости он служил в авиации, но потом заболел язвой желудка и вернулся к себе в деревню. В колхозе он не работает, работает плотником в Межколхозстрое, и то зиму; летом он отдыхает. По словам Маши, человек он невыносимый. В рабочую пору он ходит по звеньям и наводит порядок.

— Ходит и везде сует свой поганый нос, — говорила Маша. — А на всякие неполадки у него прямо нюх. Чуть где что не так, он тут как тут. Вот на прошлой неделе сеяли мы яровое, в низинке, называется — Прошкина балка. Только мы за работу, налетает Ястребок. Орет, драться лезет. Что такое, спрашиваем? Как же, говорит, тут же низина, погниет все к чертовой матери! Бригадир его гнать, мол без тебя разберемся, а Ястребок лег под трактор, лежит и орет: «Только через мой труп!» Так и не засеяли Прошкину балку.

Маша разговорилась и незаметно перешла с Истребителя на хозяйство, потом рассказала о своем бывшем муже, потом навела критику на новые школьные программы, потом пригласила меня ночевать и, наконец, объявила, что сегодня в Ремешках намечается торжество. Я спросил, по какому поводу торжество?

— А так, — отвечала Маша. — Ведь посевная же, народ утомился. Больно хочется погулять.

Я не поверил. Я подумал, Маша что-то темнит: либо сегодня какой-нибудь христианский праздник и Маша постеснялась об этом сказать, либо... одним словом, должен быть повод. Где это видано, ни с того ни с сего закатывать праздник на всю деревню? До какой же степени я был удивлен, когда вечером выяснилось, что Маша сказала чистую правду, что деревенский праздник

действительно собирается безо всякого повода, то есть только из-за того, что народу хочется погулять.

Часам к шести ремешковские женщины начали накрывать столы. Столы наставили на лужайке, неподалеку от клуба, буквой «П», или как раньше говорили — покоем. Каждый покрыли хрустящей скатертью и на каждый заблаговременно поставили ночничок, подсоединившись к ближайшему электрическому столбу. Мужики толпились в это время несколько в стороне, разговаривали, курили, а иногда исполняли кое-какие женские распоряжения, например бегали за проигрывателем. Сначала мне было неловко, хотя от бригадира мне передали официальное приглашение, но потом мужики меня заговорили, неловкость улетучилась, и я уже без малого чувствовал себя ремешковским. Тут нас пригласили к столу.

Когда все расположились за столами, краснолицый седой мужчина — бригадир, как мне пояснила Маша, — постучал по стакану вилкой. Сделалась тишина. Бригадир кашлянул, осмотрелся и сказал короткую речь.

— Товарищи! — сказал он. — Друзья и подруги! Рад сообщить, что посевная прошла на соответственном уровне. Касательно будущего урожая — дело, как говорится, в шляпе. Тут не может быть двух мнений. Продовольственными и кормовыми культурами площадя были засеяны своевременно, озимые дали обнадеживающие всходы. То же самое животноводство. Есть мнение, что в этом году поголовье скота приблизится к рекордному уровню, что гарантирует нам ассеминатор Алтушкина, которая...

— Регламент! — закричал Истребитель.

Бригадир осекся, раза два кашлянул в кулак и продолжил:

— Все это, товарищи, безусловная заслуга нашего коллектива, в котором имеются прямо геройские труженики. Но и прочие не подкачали. Если так пойдет даль-

ше, то построение материально-технической базы, думается, не за горами. Всем объявляется благодарность. Пейте, товарищи, кушайте на здоровье!

Грянули аплодисменты. Бригадир косо посмотрел на Истребителя, вздохнул и опустился на свое место. Все стали чокаться. Я тоже чокнулся с теми, кто сидел поблизости от меня, выпил и принялся за еду.

Ели мы чрезвычайно вкусные вещи. Особым разнообразием блюд бригадный стол, правда, не отличался, но зато блистал первобытной свежестью и здоровьем. Из закусок были соленые грузди, сало и маринованные помидоры. Подавали: пироги с яйцами и картошкой, грибную лапшу, такую густую, что ее можно было есть вилкой, и гуся с капустой.

Потом были танцы. О танцах можно сказать ту забавную вещь, что ремешковские танцуют очень серьезно, проявляя в этом деле такую же основательность, что и в еде. Мужчины вытягиваются, как в строю, и, надо полагать, кажутся себе непобедимо грациозными, поскольку у них на лицах появляются сосредоточенные выражения, точно они для отвода глаз танцуют, а на самом деле думают о чем-то первостатейном. Своих дам они придерживают несколько выше талии, подпирая их большим пальцем. Женщины танцуют, как вообще танцуют все женщины, — точно делают одолжение.

Уже потемнел воздух, и на столах зажглись ночники, нарисовав картину прелестную, мирную и отчасти потустороннюю, так удивительно было смотреть на желтые лица с выражениями тайной вечери, над которыми низко-низко висело ночное небо, — когда произошла неприятность. Истребитель завел скандал. Сначала он сидел тихо и только ядовито посматривал по сторонам, но потом его прорвало. Он пристал к какой-то женщине. Он принялся выговаривать ей, размахивая руками и делая страшное лицо.

— Ты отдаешь себе отчет в своих действиях? — гово-

рил он, размахивая руками и делая страшное лицо. — Что же теперь, твоего недоеденного гуся собакам выбрасывать? Что ли тебе не понятно, еловая твоя голова, что это колхозный продукт, который должен использоваться с максимальной отдачей? Нет, ты лучше доешь!.. Доешь, я тебе говорю, а то хуже будет!

Женщина обмерла от смущения. Она стала глупо озираться по сторонам, и всем ее стало жалко.

— Ну что ты к ней пристал, не стыдно тебе? — сказал бригадир и постучал костяшками пальцев по голове.

— Темнота! — воскликнул Истребитель. — Я кусок не доем, ты кусок не доешь, глядишь — и нету колхоза, по миру пошел твой колхоз. Это же вникни только!

— Знаешь что, — сказал бригадир, — иди ты к одной матери, вот при женщинах не могу уточнить к какой. А ну, гони его в шею, ребята, занозу такую!..

Истребитель не стал дожидаться, когда его выгонят в шею, он тут же встал из-за стола и ушел. Некоторое время всем было тягостно, но продолжились танцы, и об Истребителе позабыли.

Потом пели песни. То ли я уже был немного навеселе, то ли ремешковские душевно, как-то особенно душевно поют, но я прослезился. Я слушал пение, и во мне разливалось что-то томительное, сахарно-уксусное, больное. Как ремешковские поют, так полынь пахнет: и горько вроде бы, а на душе хорошо. Чтобы никто не разглядел моих слез, я вылез из-за стола и отошел покурить. Неподалеку белело облако черемуховых кустов, которое распространяло дурман, и я пошел в его направлении. Под кустами была скамейка. На скамейке сидел Истребитель.

— Переживаешь? — спрашиваю его.

— Это ничего, — отвечает, — это нормально. История знает и не такие гонения на правду. Возьмем, к примеру, Джордано Бруно, на костер человек пошел за свою астрономию. А тут подумаешь какое дело — прогнали... Чи-

хал я на это! Я свою линию все равно буду гнуть, по капельке, по копеечке, но этой деятельности не оставлю. Тихая вода, она берега подмывает. Конечно, правда кому она нравится, но я до последнего издыхания буду нещадно истреблять всяческий беспорядок, до последнего издыхания! Но — молчите проклятые струны!

Истребитель горько замотал головой и больше действительно не сказал ни одного слова. Мы молчали, молчали, а потом кто-то меня окликнул. Это была Маша. Я простился с Истребителем и пошел ночевать. По дороге, вследствие выпитого вина и лирического настроения, я попытался Машу обнять, но она сказала:

— Я вас ночевать по-товарищески пригласила, как человек человека. Так что, пожалуйста, не безобразничайте.

Утром, со стыда, я собрался чуть свет и выскользнул со двора, даже не попрощавшись.

4. СТОПРОЦЕНТНОЕ ГОРЕ

Я шел на Желанье. Мне было нехорошо.

Дорога вела меня по холмам, которые хотя и придавали местности некоторую живописность, но одновременно навевали недоброе, пустынное чувство. Ельник, обступивший дорогу с обеих сторон, был высок, темен, болотист и производил дремучее впечатление.

Вдруг я услышал у себя за спиной колесный скрип и копытное цоканье. Я обернулся: меня догоняла телега. В телеге сидел мужчина; он улыбался и вскидывал головой, точно повстречал приятеля. Между тем я видел его впервые.

— Садись кататься, — сказал мужчина, когда его телега поравнялась со мной.

Я сел в телегу. Я тридцать три года прожил, а ехал в телеге, кажется, в первый раз. Это оказалась очень неудобная езда. Не проехали мы и километра, как я уже

отбил себе все на свете и у меня стало трястись нутро.

Первым делом я из вежливости справился, как зовут моего возницу.

— А зови хоть Петр, — ответил он, точно это вообще не имело никакого значения, и чему-то весело рассмеялся.

Мы проехали еще километр, и вдруг Петр сказал:

— Удивляюсь я, какой мы стойкий народ! Вот у меня, к примеру, такое горе, что в глазах темно, а я смеюсь...

— Что за горе? — спросил я, наладив в голосе сочувственную тональность.

— Как же! — ответил Петр. — Самое что ни на есть стопроцентное горе!..

И он рассказал мне историю, которая до сих пор не идет у меня из ума. Поскольку Петр умеет рассказывать как-то особенно бестолково, точно нарочно запутывая суть дела, и вообще плохо владеет родным языком, то лучше я изложу ее от себя.

В прошлом году Петр отличился на посевной, и осенью колхоз наградил его путевкой в Крым, в санаторий, где лечили от нервов, другой, по его словам, не было. Но, собственно, завязка начинается там, где его сын, десятилетний мальчик, напросился ехать с ним вместе. Петр долго не соглашался, но потом на него насели жена и теща и до того его довели, что он согласился. По характеристике Петра, его сын — совершенный балбес. Он был вечно чумаз, не похож ни на кого из родителей, садится за уроки, что называется, из-под ремня и часто дерзит.

Санаторий был в маленьком крымском городе, названия которого Петр не упоминал, видно, это упоминание было ему неприятно, как может быть неприятно напоминание улицы, где вас обокрали, или имени человека, который вам насолил. Он только сказал, что по утрам в этом городке стоит невыносимая вонь, так как хозяйки в эту пору выставляют за ворота ведра с помоями, которые подбираются мусорщиками; они сообщают о своем

появлении посредством милицейской свистульки. Другая городская достопримечательность состояла в изобилии маленьких, пестрых и свирепых собак неопределенной породы. У них были острые усатые морды, похожие на крысиные, — таких омерзительных псов, по словам Петра, он не видел нигде.

Их поселили в отдельной комнате. Петр говорил, что он «дал» кому надо, и их поселили в отдельной комнате. Утром они ходили купаться, потом обедали, потом спали, а потом для Петра наступало самое томительное время: «сумасшедшие», как называл Петр соседей, уходили на танцы, а он начинал сердиться, придираться со зла к своему мальчишке, отчего каждый вечер у них заканчивался криками и слезами. Однако в начале второй недели Петр свел знакомство с медицинской сестрой из почечного санатория, и скандалы прекратились. Поздно вечером, когда сын уже спал, Петр встречал медсестру, доставлял ее в комнату через окно, а под утро они расходились. Тут кульминация: однажды ночью мальчишка проснулся, встал по нужде и увидел то, что в его годы видеть не полагается, что вообще видеть не полагается.

Когда Петр дошел в своем рассказе до этого места, глаза его заблестели, а голос сделался хрипловат. Он замолчал и закурил папиросу.

— Ну и что было дальше? — подтолкнул его я.

— Убийство... — ответил Петр и поперхнулся.

Я вытаращил глаза.

— Но это потом, — оговорился он, как будто спешил меня успокоить. — Сначала он только задумчивый стал. Сядет у окошка и все думает, думает... переживает. И ты знаешь, раз я, глядючи на него, сам подумал, сроду я об этом не думал, а тут подумал: ведь он такой же человек, как и я! Это, как сказать... это было у меня вроде нового слова в науке, потому что мы все же их брата, детвору, за людей не считаем. Вот ведь, думаю, как человек, сидит тоже, переживает... И это даже неправильно сказать,

что он такой же человек, как и я, потому что он лучше моего, в тыщу раз лучше. Ты посуди: водки ему на дух не нужно, не блудит, не ворует. То есть я перед ним, можно сказать, первейший мошенник, и я же имею о нем такое мнение, как будто он неодушевленный предмет. Ведь они у нас еще при крепостном праве живут, ты согласен? Пример: попробуй я тебе в морду дать, ты сразу в милицию жалиться побежишь, засудишь меня к чертовой матери, а своего огольца бей сколько хочешь, хоть пять раз на дню, он в милицию не побежит — чем не крепостное право? Типичное крепостное право! Но это я куда-то не туда залез, сбился. Значит, сначала он тихий стал, как бы притаился, а как мы воротились домой, тут-то все и произошло...

Петр очень долго рассказывал, что именно произошло и как произошло. Говоря вкратце, произошло следующее: однажды его сын в компании одноклассников, которая состояла из трех мальчиков и одной девочки, забрался на водонапорную башню; залезши по лестнице на узенькую площадку, где компания едва разместилась, они стали играть в межпланетное путешествие; только они отправились, как Петров мальчишка стал проверять билеты: один показал ему варежку, другой биллиардный шар, третий катушку, а у девочки ничего постороннего не нашлось; Петров мальчишка подумал немного и спихнул ее вниз.

— Я потом его спрашиваю, — говорил Петр, — ты зачем это сделал? Так, говорит. Как это так, говорю, из любопытства, что ли? Он говорит, из любопытства. Но это он, конечно, наврал, просто ему мое слово понравилось. На самом деле тут другая причина, причина — я. Так что это не он убил, я убил. Мы все вместе убили.

Петр замолчал и несколько раз проглотил слюну.

— Вот ты вникни: положим, я ему целыми днями долдоню, что врать не годится, что вранье — это самое последнее дело, а чем мы с тобой живы, как не вранье

ем? Допустим такое дело, скажу я своему звеньевому, что он дурак, потому он дурак и есть, я правду скажу, а он меня со свету сживет! Или, положим, наставляю я своего огольца, что красть нехорошо, но ведь я в дом то досточку государственную тащу, то колхозного сена клок. Это как? Вот где собака зарыта, все безобразия от этого! Никакой веры они нам не дают. Вообще тут много причин, голова пухнет, но главное, что они нам никакой веры не дают. И потому ко всему норовят подойти с проверкой: а как, дескать, на самом деле? Тут уж девчонку какую-нибудь спихнуть или собаку ломом огреть по голове — самое законное дело. Одним словом, кругом я перед обществом виноват. Первоначально я только очень переживал, но потом думаю: надо свою вину перед обществом исправлять.

— Да что уж теперь поправишь, — проговорил я.

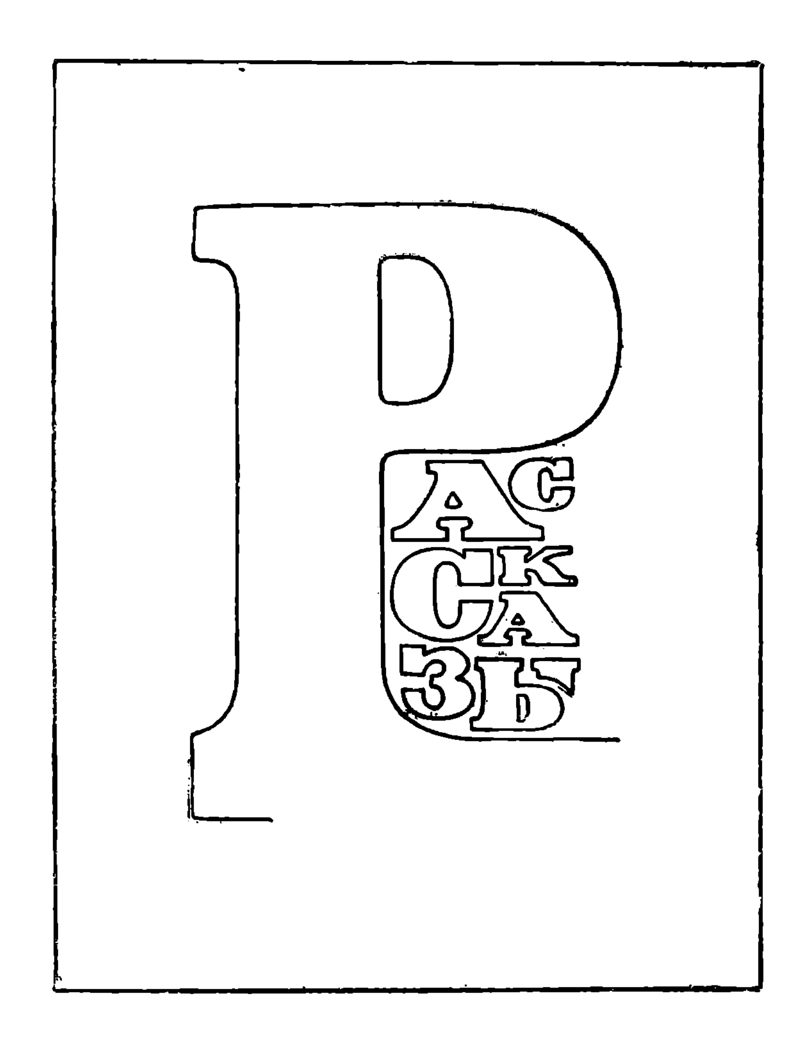
— Очень даже поправишь, — возразил Петр, — была бы охота. Я вот что придумал: нарожаем мы с матерью штук двадцать детей и воспитаем их в лучшем виде, чтобы были большевички. У меня с той поры уже трое произошли, четвертого жена носит. Прямо я ей никакой жизни не даю!..

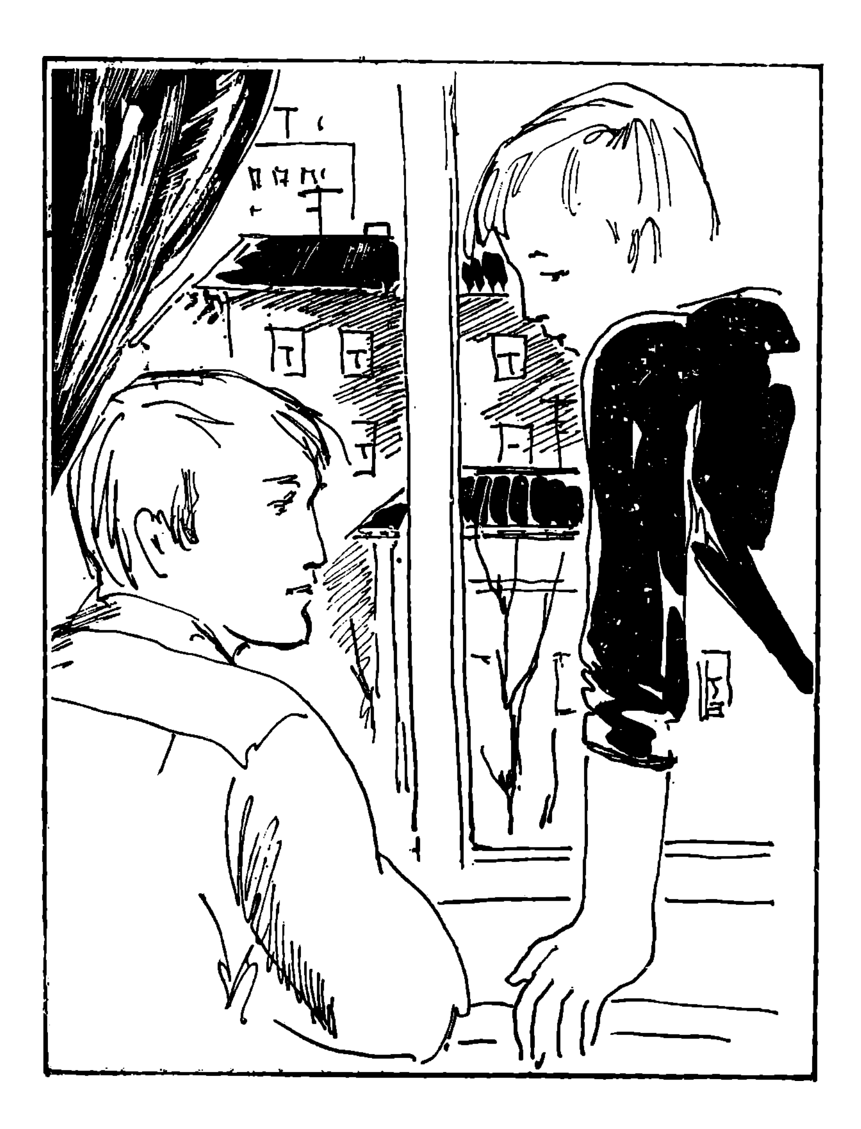
Как ни печальна была история, рассказанная Петром, под конец я не выдержал и улыбнулся.

— А ты говоришь, не горе, — сказал Петр и хлестнул прутиком лошадь, — самое стопроцентное горе!

Я подавил улыбку.

Вскоре мы доехали до развилки: налево дорога шла на Желанье, направо на Тараканов. Здесь Петру нужно было сворачивать вправо, и мы стали прощаться. При прощании на лице у Петра образовалось выражение, которое мне не понравилось. Это было выражение злорадства, хитрого удовольствия, а тут еще Петр подмигнул мне и вдруг залился мелким, противным смехом. Я понял, что он все наврал, и с досады чуть было не прослезился.


РАССКАЗЫ



Я И ДУЭЛЯНТЫ

Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить.

Бальмонт

Прежде чем перейти к делу, мне понадобится короткое отступление.

Я писатель. Правда, я писатель из тех, кого почему-то охотнее зовут литераторами, из тех, о ком никто никогда ничего не слышал, из тех, кого обыкновенно приглашают на вечера в районные библиотеки. Однако не могу не похвастаться, что я немножко белая ворона среди пишущей братии, поскольку работаю день и ночь, а кроме того, имею особое мнение насчет назначения прозы; я полагаю, что ее назначение заключается в том, чтобы толковать стихи. Подобное мнение ущемляет божественную репутацию моего промысла и мою собственную значимость как писателя, следовательно, я прав. А впрочем, один мой собрат по перу, некто Л., капризный и много о себе понимающий старичок, говорит, что книги умнее своих сочинителей. С его легкой руки я лишаю поэтов всех привилегий и не сержусь на особенности моего литературного дарования, которое определило меня на второстепенные роли. И вот еще что: литературное реноме Николая Васильевича Гоголя вовсе не пострадало из-за того, что один великий поэт дал ему сюжет «Мертвых душ».

Разумеется, я вполне сознаю ценность собственного писательства относительно литературного наследия Гоголя, почему позволяю себе, как правило, трактовать поэтические недосказанности сошки помельче. В данном случае мое воображение задели приведенные выше

строчки Константина Дмитриевича Бальмонта, которые, будь я человеком тщеславным, ни в коем случае не следовало бы приводить. С другой стороны, как это чаще всего и бывает, меня вдохновила одна неслыханная история, которой я не только свидетель, но даже в некотором роде действующее лицо. История эта до того в самом деле дика и невероятна, что диву даешься, как такое могло случиться в каких-нибудь наших северо-западных Бирюлевых среди детского писка и вывешенного где попало белья. Во всяком случае, для того чтобы дать этой истории ход, я теперь принужден выворачивать наизнанку свое литературное рубище, и если этого покажется мало, то даже присягнуть на здоровье своего двенадцатилетнего сына, лгуна, балбеса и двоечника, что все, о чем пойдет речь в дальнейшем, сущая правда.

Завязкой этой истории послужило изобретение инженером Завзятовым какого-то особенного пневматического молотка. Я знаю Завзятова понаслышке и никогда не видел его в глаза, но полагаю, что его последующие поступки обязывают меня изобразить Завзятова человеком лет тридцати пяти с неаккуратной прической, отсутствующим взглядом, непоседливыми руками, в брюках по щиколотку и в пиджаке с секущимися рукавами.

Насколько мне известно, до изобретения Завзятовым пресловутого пневматического молотка знавшие его были о нем самого ничтожного мнения, которое точнее всего обозначается русской пословицей «ни богу свечка, ни черту кочерга», хотя одна женщина еще загодя говорила, что в нем есть что-то потустороннее, демоническое. С этой женщиной он потом жил.

Другой герой моего рассказа — еще очень молодой человек по фамилии Букин, ответственный секретарь одного технического журнала, почему я с ним и знаком,— когда-то, в незапамятные времена, я сам занимал эту

должность. Букин производит располагающее впечатление, разве что в нем немного смущает редкая в наше время и, по моему мнению, предосудительная страсть к игре на бегах и дымчатые очки, которые придают ему надменное выражение.

Кроме этих двоих, в описываемой истории была замешана женщина, редакция одной столичной газеты и кандидат юридических наук, специалист по римскому праву А. Н. Язвицкий.

Дело было так. В прошлом году, в сентябре, Завзятов подал заявку на авторские права. Не дождавшись, какое выйдет решение, он из рекламных соображений принес в редакцию журнала, где служил Букин, статью собственного сочинения, в которой расписывал достоинства своего молотка.

Отдел, куда попала статья, переадресовал рукопись Букину, а тот нашел, что все это чепуха. Букин еще не успел положить рукопись в «гибельный» ящик письменного стола, как в редакцию явился Завзятов. Его объяснение с Букиным, продолжавшееся вплоть до обеденного перерыва, относится к той категории разговоров, при воспоминании о которых внутри начинает саднить, точно ты нализался железа. Они разошлись врагами и воспылали (я этот глагол потом заменю) такой ненавистью друг к другу, что некоторое время просыпались с чувством ненависти и с мыслью о мести. Думая о Букине, Завзятов называл его титулярным советником, сволочью и тупицей, а Букин говорил себе, что, вероятно, имеет дело с помешанным, каких на своей должности видел немало, и что надо будет сказать вахтеру впредь Завзятова не пускать.

История эта, возможно, так и закончилась бы заурядным скандалом, если бы Букину не пришла в голову мысль и вправду отомстить изобретателю молотка за все оскорбительные намеки, которые тот по его поводу отпустил. В другой раз эта мысль вряд ли пришла бы ему

в голову, так как Букин был человеком отходчивым, но накануне его при всех ударила по лицу одна молодая женщина. После разговора с Завзятовым он припомнил эту женщину, и перед ним встал ужасный вопрос: почему такое он терпит поношения и почему не возьмется себя защищать — мужчина он или же размазня? Этим вопросом Букин до того себя распалил, что решил написать в одну газету, где у него был приятель, тоже любитель бегов, язвительную статью под названием «Изобретатели велосипедов». Недели через две замысел был осуществлен, и статья увидела свет. А через неделю, около шести часов вечера, Букин был встречен у подъезда редакции Завзятовым, и между ними произошел такой разговор.

— Это вы написали гаденький пасквиль о моем изобретении? — сказал Завзятов, бегая глазами и вынимая из кармана правую руку.

— Я, — сказал Букин и нервно улыбнулся. Он обмер от страха.

— Вы поступили неосмотрительно. Вы подумали, что скажут о вас потомки?

Вслед за этим Завзятов немного помедлил, потом размахнулся и ударил Букина по лицу.

Попробуйте представить себя человеком, которого в течение месяца дважды публично ударили по лицу, и, если вы не лишены некоторого воображения, вам откроется мучительная комбинация чувств. Букину было и стыдно себя, и жалко себя, и ежеминутно изводило желание как-нибудь неслыханно отомстить. Но пока он выдумывал второй по счету мстительный шаг, Завзятов его опередил.

В одно прекрасное утро Букин получает письмо. «Милостивый государь! — пишет ему Завзятов. — Если вы думаете, что мы окончательно расквитались, то вы ошибаетесь. Я оскорблен вашей грязной статьей не на жизнь, а на смерть. Это оскорбление, а также подлость, кото-

рую вы совершили против науки, смоется только кровью. Я вызываю вас на дуэль. Если вы не баба и не тряпка, то соглашайтесь. Я пришлю за ответом своего секунданта. Завзятов».

— Прекрасно! — воскликнул Букин, прочитав письмецо, и нехорошо засмеялся. — Дуэль? Прекрасно! Пусть будет дуэль! — От ненависти к Завзятову и перспективы кровопролития у него помутилось в голове.

Два дня спустя к нему на квартиру явился завзятовский секундант, та самая женщина, которая загодя угадала в Завзятове что-то потустороннее, демоническое. Фамилия ее была Сидорова.

Не переступая порога, эта женщина потребовала ответа, де принимает Букин вызов или не принимает. Правда, она сразу оговорилась, что в случае отказа от дуэли она его просто убьет. Оговорившись, она испытательно посмотрела ему в глаза. В этом взгляде сквозила такая лютая сила, которая даже не может быть свойственна женщине, и Букин оторопел. Он ответил, что принимает вызов, но от смятения говорил как-то робко, и Сидорова, уходя, презрительно улыбнулась. После этого он и Сидорову стал ненавидеть.

Несколько дней Букин прожил в полуобморочном состоянии. С одной стороны, он терзался ненавистью и торопил развязку, но с другой стороны, ему было досадно, что он из-за пустяков попал в переплет, который принял зловещий оборот, а впереди ожидается вообще что-то дикое, средневековое, точно незаметно сломалось время и мир повернул назад, к сожжению ведьм, избиению младенцев, антропофагии. Эта сторона дела очень смущала Букина, и он даже подумывал, а не отказаться ли от дуэли, сославшись на то, что его враг идиот. К сожалению, он так и не отказался, поскольку в нем неожиданно родилось новое чувство, слава богу, позабытое

теперь чувство, которое прежде обозначали выразительным словом «честь», именно в том смысле честь, что ты обязан умерщвлять всех, кто косо на тебя смотрит, не разделяет твоих симпатий или просто перечит, — иначе ты дрянь, дрянь, дрянь.

Дуэль решено было обставить традиционно. Завзятов два дня просидел в Исторической библиотеке и выписал все, что касается правил и церемониала. После этого состоялось несколько свиданий Букина с Сидоровой, на которых были обсуждены детали. На первом свидании, назначенном возле пригородных касс Ярославского вокзала, решался вопрос, как драться, то есть насмерть или до первой крови. Решили — до первой крови. На другом свидании обсуждалось оружие; это оказался довольно сложный вопрос. Пистолеты взять было негде, поножовщина претила, фехтовать никто не умел. Наконец, оружие было выбрано: в качестве инструмента мести выбрали спортивные луки. На луках остановились, собственно, потому, что у Сидоровой были знакомые лучники из общества «Локомотив», и еще потому, что, по справкам, на церемониальной дистанции из спортивного лука нельзя было нанести смертельную рану. Правда, оставалась опасность попадания в голову, но к этой опасности дуэлянты отнеслись легкомысленно, рассудив, что, в конце концов, это все-таки дуэль — драться так драться.

Когда все детали были обговорены, Букин стал искать себе секунданта. Не знаю, что его дернуло, но он явился ко мне. Я выслушал его, не веря своим ушам, несколько раз справился, не дурачит ли он меня, и потом послал к черту. Букин сказал, что он пошутил, мы посмеялись и выпили по маленькой коньяку, который я прячу от жены в солдатской фляге на антресолях.

К тому времени я уже был серьезно озадачен бальмонтовскими строчками. Из них вылуплялся какой-то сюжет. Душа его уже проклюнулась, но телесности не

было никакой. Поэтому я ухватился за рассказ Букина, в котором мне почудилась соответствующая телесность, и сел писать. Но дело не пошло. Сомневаюсь, чтобы мне удался даже плохой рассказ, скорее я бы вообще никакого не написал, уж больно тяжелый оказался материал, но тут опять подоспел спасительный Букин. Как-то вечером он меня навестил. Он был чуть ли не в лихорадке. Я стал спрашивать его, что стряслось, и тут он выложил, что давеча не соврал, что дуэль точно состоится, а пока решается вот какая проблема: в случае серьезного ранения одного из соперников должно быть средство избавить другого от уголовной ответственности. Эта проблема оказалась настолько сложной, что враги решили было обратиться в юридическую консультацию, но вовремя опомнились. Тогда Сидорова, у которой вообще оказалась масса полезных знакомств, свела компанию с юристом Язвицким.

Язвицкий принял их у себя на даче. Во время разговора он держался заносчиво, но потом выкинул неожиданный фортель; впрочем, сначала о том, что он посоветовал дуэлянтам. Он посоветовал на случай рокового исхода запастись четвертинкой водки, опоить ею раненого и затем безбоязненно доставить его в ближайшее медицинское учреждение, где последний объяснит дело несчастной случайностью, например: выпил лишнего, пошел прогуляться, споткнулся и напоролся на сук. И тут Язвицкий выкинул фортель: он предложил свои услуги в качестве букинского секунданта.

Стреляться договорились в Сокольниках. Чуть в стороне от Оленьих прудов, по словам Сидоровой, было одно укромное место. Дуэль назначили на субботу, 30 октября.

Несколько дней, остававшихся до этого рокового числа, соперники, надо полагать, провели в неотступных думах о смерти и вообще находились в том неприятном, тревожном состоянии духа, которое мнительные люди

испытывают в ожидании докторского приговора. В последнюю ночь Завзятов, предположим, ходил из угла в угол, ерошил волосы и поминутно проверял, не дрожит ли рука. А Букин решил напоследок полистать любимые книги и нечаянно заснул.

Утром 30 октября все четверо встретились на трамвайной остановке «Мазутный проезд». Пока шли до места, все тяжело молчали, и только Язвицкий ни к селу ни к городу начал рассказывать о том, что в этих местах когда-то купался Пушкин.

Уже вторую неделю, как выпал снег. Он стал было таять, но неожиданно ударили холода, и снег лег искрящейся стеклянною коркой, которая весело похрустывала под ногами. Еще во многих местах на деревьях зеленела листва, и снег, который клочьями лепился на кронах, производил нездоровое, отталкивающее впечатление.

Октябрьский лес пахнул холодно и выглядел злобным, как дуэлянты. Впрочем, Букин слегка нарушал ансамбль тем, что очень боялся, но остальные были, как говорится, в форме, особенно сам Завзятов, тащивший водку и луки, завернутые в газету. Он с таким зловещим спокойствием озирался по сторонам, что казалось, что он непременно еще что-нибудь выкинет, совсем ни на что не похожее, плотоядное.

Поляна, о которой рассказывала Сидорова, на самом деле оказалась местом уединенным и симпатичным. Вокруг недвижимо стояли сосны, о которых Букин подумал, что в них есть что-то вечное и само по себе, как жизнь вообще, после смерти в частности.

Придя на место, все четверо покурили и взялись за дело. Язвицкий с судейской аккуратностью осмотрел луки и четыре стрелы, наконечники у которых он до содрогающей остроты наточил самолично. Потом он отмерил двадцать пять метров между барьерами, расставил

противников по местам и, немного помедлив, дал им сигнал сходиться.

Стрелялись одиннадцать раз, так как ни Завзятов, ни Букин никогда прежде луков в руках не держали и никак не могли друг в друга попасть. На одиннадцатый раз стрела, выпущенная Букиным, угодила Завзятову в глаз, то есть случилось худшее из того, что только могло случиться. Впрочем, Сидорова не обманула, стрела действительно не проникла внутрь черепа, застряв в глазном яблоке. Завзятов даже не потерял сознания, хотя из-под стрелы на снег, перемешанный с зелеными и желтыми листьями, хлынул неправдоподобно бурный фонтан крови. Стрелу извлекли, и Сидорова стала лить прямо на то место, где у Завзятова только-только был глаз, перекись водорода; на ране зашипела очень большая, пузырящаяся, розовая гвоздика, и кровь остановилась.

После этого Завзятов десять минут не мог отдышаться, а когда отдышался, попросил водки. Ему налили два стакана подряд, третий налили Букину, с которым случилась истерика.

Однако то, что было на самом деле, до такой степени представляется мне ужасным, что написать об этом в рассказе мне и не хочется, да и вряд ли возможно. Кроме того, действительность решительно противоречит идее, которой я задался, и я придумал другой конец. Придя на место, дуэлянтам показалось холодно стреляться, и тогда Букин от страха, с тем чтобы оттянуть ужасный момент, предложил понемногу выпить. Предложение было принято. Выпили по одной, показалось мало — выпили по другой, показалось мало — послали Сидорову в магазин за добавком, короче говоря, напились. Тогда, как это у нас полагается, стали выяснять отношения. Во-первых, сошлись во мнении, что их затея с дуэлью —

глупость, во-вторых, стали прикидывать, как это они дошли до такого умопомрачения, и, наконец, каждый из присутствовавших на дуэли высказал собственный взгляд на вещи, чтобы как-то себя оправдать. Таким манером я положил осуществить толкование бальмонтовских строчек насчет того, что мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить. Если бы я описал то, что было на самом деле, то вышла бы одна глупость, то есть вообще не рассказ, а описание того, что было на самом деле. Ведь явления жизни сами по себе не проясняют ничего, кроме того, что они явления жизни, и только искусство, воспроизводящее жизнь не относительную, которой живет каждый из нас, а абсолютную, которой не живет никто, в состоянии кое-что прояснить. В данном случае оно может навести на то просветление, что тонкому человеку мучительно жить, если что-то человеческое им непонятно и, стало быть, не прощено. Тут надо быть либо «толстым» человеком, либо вооружиться способностью к чуткому уразумению, которое еще называют снисходительностью. Ведь действительно невозможно жить, когда тебя, например, ненавидит порядочный человек, когда ты ненавидишь порядочного человека, наконец, когда тебе просто непонятно, что такое ненависть и откуда она берется.

Итак, дело у меня венчалось нетрезвым, но душевным разговором в лесу. Сидорова пускай говорит, что, по ее мнению, человечество существует главным образом для того, чтобы тиранить самых совершенных представителей своего вида, то есть гениев. Пускай она укажет на пример Циолковского или Торквато Тассо, чью суммарную полезность можно приравнять к суммарной полезности двух человеческих поколений. Она скажет, что, дескать, будь у Циолковского супруга не наседка, а настоящий соратник, его не мучили бы всякие дураки, и

что она счастлива, что встретила в жизни Завзятова и видит свое назначение в том, чтобы сдувать с него пылинки.

Время от времени ее будет перебивать Букин. Он будет говорить о том, что, в конце концов, все сделаются неврастениками, если не возьмутся себя защищать. Букин будет горячо обличать (это слово я тоже потом заменю) людей, которые легко и много прощают и в лучшем случае способны ответить на оскорбление оскорблением. Он будет утверждать, что это ведет к уничтожению личности. Что же касается гениев, то он скажет, что это еще вилами на воде писано.

Когда дело дойдет до Язвицкого, он станет оправдывать свое умопомрачение тем, что теперешняя жизнь напрочь лишена остроты и однообразна, как гудение комаров. Что временами непереносимо хочется чего-нибудь из ряда вон выходящего, уксуса с перцем, чтобы всего ознобом пробрало, иначе можно помутиться в рассудке, иначе можно подумать, что жизнь прожита впустую. Наконец, Завзятов объявит, что самое святое дело для него справедливость и ради ее торжества он готов стреляться хоть ежедневно.

В самом конце рассказа я приписал фразу, что, дескать, все разошлись по домам довольные и хмельные, вздохнул и поставил точку. Затем я перечитал написанное и даже перепугался, до того получилось хорошо.

— Ну, — закричал я жене, которая в это время делала что-то на кухне, — если это не самое сильное из того, что существует в теперешней литературе, то я вообще ничего не смыслю. Слышишь? Когда Л. прочитает этот рассказ, он покончит жизнь самоубийством. Он скажет, что со мною нельзя быть современником.

— Господи, — ответила из кухни жена, — когда все это кончится?

Ну что ты будешь делать, скажи на милость...

СТАРИКИ И СТАРУХИ

Что мы думаем, когда смотрим на старого человека? Мы думаем: «Господи, что делают с людьми годы!» Мы думаем, что вот, дескать, бедняга, тоже когда-то был молод, любил, устремлялся, делал глупости, не любил, словом, тоже поозорничал на своем веку. Теперь же, глядя на эти руины, хочется думать о смерти и горевать.

Но от всей души ужасаясь такой жестокой метаморфозе, мы редко сознаемся перед собой, что будет время, когда сам не захочешь лишний раз поглядеться в зеркало — до такой степени перспектива собственной старости кажется нам неудобопонятной. А между тем грядущее увядание так же естественно и неизбежно, как чередование времен года. Хуже того, это дело не за горами, даже в том случае, если у нас с вами только-только пошли по щекам прыщи, то есть так ужасно не за горами, что порой я даже теряю самообладание. А впрочем, это бывает со мною редко — умом я не боюсь старости. Когда я наблюдаю стариков и старух, на лицах у которых я всегда застаю достойные и какие-то загадочные выражения, я начинаю подозревать, что им известно о нашей жизни нечто чрезвычайно важное, что, вероятно, открывается только на склоне лет, и тогда мне даже не терпится разделить их божественную осведомленность. Мне приходит на ум, что собственно жизнь начинается что-нибудь от шестидесятилетнего рубежа; человек в эти годы достигает известного положения и достатка, так что ему уже не к чему шалопайничать, и, наконец, появляется возможность подумать о том о сем, — вот почему я думаю, что собственно жизнь начинается от шестидесятилетнего рубежа. Во всяком случае, мне больше нечем объяснить то обстоятельство, что никакая другая возрастная категория не дает столько умниц, подвижников, вообще занимательных типов, сколько старики и старухи.

Это удивительный народ. Не говоря уже о классических стариках, наши нынешние старики показывают такие образчики мудрости по отношению к скоротечному празднику бытия, что гимн старости сам просится на уста. Скажем, я знал одного отставного полковника, который рвал деньги... К сожалению, это подвижничество со временем закончилось анекдотом: полковник ослеп и его дети до самой смерти подсовывали ему конфетные фантики. Или взять другого выдающегося старика, Ивана Ивановича Рублева, жизненный опыт которого доказывает, что истина достигается именно на старости лет. Тут, правда, хочется оговориться, что теперь развелось много народу, который на это скажет: «Какие еще, к чертовой бабушке, истины? Иди ты со своими истинами!..» — имея в виду, что ему и без истин тошно, но, может быть, потому и тошно, что без истин?.. Или он скажет, что, дескать, даже у бесчувственного растения, оказывается, есть нервы, и какой-нибудь фикус может вырасти неврастеником из-за табачного дыма или семейных склок; дескать, что уж говорить о нашем брате, когда он и без истин сплошь и рядом вспыльчивый человек? Но на это даже ничего не хочется возражать.

Иван Иванович Рублев — пожилой человек с круглым, добродушным лицом, взглянув на которое, не хочешь, а улыбнешься. У него оттопыренные уши и мягкий характер. Прежде он был счастливый человек, правда, в самом расхожем смысле этого слова, теперь он несчастен.

В тот день, когда начались несчастья, Иван Иванович поссорился со своим напарником Васей, — собственно, с этого все и началось. Во время обеденного перерыва они из общей кастрюли согласно хлебали борщ; вдруг Вася ни с того ни с сего говорит:

— С тобой хорошо помёт есть. Торопишься...

Сначала Иван Иванович только раскрыл от удивления рот, но потом сообразил, что его оскорбили, с серд-

цем бросил в кастрюлю ложку, так что во все стороны полетели багровые брызги, встал и ушел.

Затем последовал еще целый ряд неприятностей: начальник смены сделал ему нагоняй, один парень, которому он не дал папиросу, в отместку его спросил: «Скажи, дядя Ваня, почему ты такой жмот?», потом он разбил очки, наконец, незадолго до окончания смены он ссадил себе ноготь. В результате всех этих неприятностей Иван Иванович после работы выпил, хотя он уже лет пятнадцать не пил спиртного. Он крепко выпил, так крепко, что по старой памяти ему захотелось выкинуть что-нибудь необыкновенное. Он долго думал, что бы ему отчудить, и почему-то решил, что самым остроумным в его годы будет посетить планетарий. Эта мысль показалась ему настолько смешной, что он заржал самым веселым образом. Прохожие оборачивались и недоумевали.

В планетарии он никогда не был, и поэтому его удивило, что в планетарии тихо и пусто. Кое-где по углам сидели смотрители и сонно таращились куда-то сквозь стены, кое-где слышался заговорщицкий шепот редких посетителей, и Ивана Ивановича обуяло благоговение. Даже хмель весь вышел. Он некоторое время бродил по залам и скоро соскучился. Но только он собрался идти домой, как ему на глаза попался большой телескоп. Этот телескоп почему-то так его поразил, что он сделал руки по швам. Ему вдруг чрезвычайно захотелось в него посмотреть.

— Как бы это... полюбопытствовать? — сказал он смотрителю, тыкая пальцем над головой.

Смотритель вздрогнул. Потом он подозрительно поглядел на Ивана Ивановича, но, как это ни странно, не отказал; наверное, скуки ради не отказал. Он нажал какую-то кнопочку, и вдруг, к изумлению Ивана Ивановича, потолок стал медленно раздвигаться. То есть Ивана

Ивановича не то поразило, что потолок стал сам собой раздвигаться, а что вдруг ворвалось небо. Смотритель ткнул в то место, куда надо было смотреть, покрутил какие-то колесики и ушел. Иван Иванович прильнул к трубке...

В эту ночь он долго не мог заснуть. Он смотрел в потолок, слушал сопение супруги, а сна не было ни в одном глазу. С тех пор он сильно переменился. У него подурнел характер, и, взглянув на его лицо, теперь, пожалуй, не улыбнешься. Часто за обедом или посредине разговора он вдруг вперивается взглядом в какой-нибудь посторонний предмет и думает, думает... Дети с ним ругаются, супруга плачет, напарник Вася два раза намекал на какую-то экспертизу, — словом, несчастный он человек. Но это в расхожем смысле слова «несчастный», поскольку возможно, что в истинной жизни несчастье есть счастье и наоборот. Ведь сказал же кто-то из древних, что, возможно, жизнь есть смерть, а смерть — жизнь. Жаль только, что прозрения, главным образом, обрушиваются на человека, когда его годы близки к закату. Или лучше поздно, чем никогда?..

Вот знал я одного семидесятилетнего старикашку, — пожалуй, его опыт доказывает, что лучше поздно, чем никогда. Он был священник, звали его Николай. Его постигло прозрение такого рода...

Однажды зимой, под рождество, в ту пору, когда завязываются сизые сумерки и особенно неаккуратно курсируют городские трамваи, старик Николай исповедовал в своей церкви Преображения на Ключах. Исповедовались старушки, два молодых человека и какой-то дядя в очках. Этот самый дядя внес ему в душу сомнение и непозволительное беспокойство. Этот дядя потому внес ему в душу сомнение и непозволительное беспокойство, что его грехи были, так сказать, нарочные грехи. За истекший период он украл в магазине самообслуживания десяток котлет и упаковочку макарон, написал на своего

начальника анонимный донос, побил соседского мальчишку и извел кипятком три дерева на детской площадке. Все это было совершено им не по надобности, не со зла, а нарочно.

Выслушав его, старик Николай оторопел.

— Зачем вы это делаете? — спросил он.

— А как же, батюшка, — ответил дядя в очках, — я человек тихий, можно сказать, положительный человек — мухи не обижу. Что же, мне теперь через это вечной жизни лишиться?

— Так, надо полагать, у вас и без этого грехов хватает, один бог без греха.

— Нет, это я понимаю. А все-таки, батюшка, как-то неспокойно, нехорошо... Уж лучше я согрешу.

Этот дядя до слез расстроил старика Николая. Случалось, что он исповедовал смертных грешников, растлителей и убийц, но ни один уголовник не повергал его в такие мучительные сомнения, как дядя в очках. Он прощал ему глупость, буквальное понимание нравственных оснований веры, но не мог простить того, что все после дяди слишком смахивало на игру. Старик Николай был крепкий человек в вере, то есть человек, умеющий не сомневаться, несмотря ни на что, а в сравнительном богословии ему, может быть, даже не было равных во всей епархии, но этот дядя очень его смутил. В душе у него вдруг зашевелился один вопрос, который не тревожил его никогда прежде. О нем после.

Придя домой, Николай долго молился в маленькой комнате, оклеенной салатовыми обоями, с цветами в горшках, обернутых розовой папиросной бумагой, с гардинами на дверях, сахарными занавесками на низеньких окнах и, помолившись, прилег отдохнуть. Но только он сомкнул веки, только неведомая, ласковая сила подхватила его и понесла, как в дверь постучали.

Николай через силу отозвался, и в комнату вошел

его племянник, учитель географии, человек молодой, но уже лысоватый.

— Дрыхнешь, старина? — сказал он и уселся в кресло. — А я думаю: дай, думаю, зайду, навещу старика, узнаю, какие новости в смысле отправления культа...

Николай ничего не ответил. Племянник немного помолчал и вдруг заговорил о климатических поясах. Николай слушал его и думал о том, какой теперь пошел неделикатный народ, о том, как хорошо было бы остаться одному и горевать, горевать, горевать... Он было собирался обдумать вопрос, который возбудил в нем дядя в очках, но из-за племянника мысли не слушались его и убегали куда-то далеко-далеко. Потом на него напал запах хлорки, которую употребляли при мытье полов в семинарии, где он учился тысячу лет назад; этот запах обыкновенно пробуждал в нем приятные воспоминания, а приятные воспоминания — светлое чувство, но теперь запах хлорки навевал ему только тоску.

Когда племянник ушел, он подождал, не подхватит ли его опять неведомая и ласковая сила, но не дождался и стал думать. «Вот я удивляюсь, — думал он, — скажем, во время службы какое великолепие! Лики на тебя со стен умно глядят, ладан в кадиле искрится и светло так пахнет, свечи потрескивают, от лампадок в застекленных иконах делается драгоценных камней сияние... А погляди в это время на паству — ужас возьмет! В лицах ни благости, ни умиления, глупость одна. И молятся, поди, о чем-нибудь дурацком, чтобы пенсию вовремя приносили. Нет, почему это такое? Ведь если ты всемогущий и всемудрый творец, то почему дети твои сплошное непотребство и недоумение? Как из твоих рук вышел этот дурак в очках? — вот ты мне что скажи... По-моему, уж если делать дело, то засуча рукава, а не тяп-ляп. Ведь, скажем, если колхозник сеет пшеницу, то он мечтает, чтобы каждое зернышко проросло и дало соответствующие плоды, а не так, чтобы знай расти: вырастешь — хо-

рошо, а не вырастешь — тебе же хуже. Ведь в хорошем колхозе за такую работу руки могут поотрывать...»

Но тут старик Николай опомнился и ужаснулся. От ужаса за свой образ мыслей он даже похолодел. Тогда он строго-настрого заказал себе думать.

Некоторое время он действительно ни о чем не думал, но потом, когда его стал одолевать сон, ему вдруг пришло в голову, что в образе Спаса он никогда не находил ничего божественного, а видел только человека, который себе на уме.

Снился ему кошмар: как будто он проповедует атеизм.

Теперь следует заметить, что и старик Николай, и Иван Иванович, жертва телескопа, несмотря на то что их все-таки осенило на старости лет, в некотором роде даже неудачники, поскольку есть старики, которые не только дошли до правды, но и умудрились прожить по ее закону продолжительный и самый дельный участок жизни. Да вот хотя бы: живет под Калинином бабка — Марфа Фоминична Сципион. Это болтливая, живая старуха, то есть до такой степени болтливая и живая, что долго общаться с ней невозможно. Когда у меня с Марфой Фоминичной завязывался разговор, мне всегда приходило в голову, что хорошо еще, что она не знает древней истории, а то совсем не было бы от нее житья, замучила бы старуха разговорами о возможном происхождении ее рода от того самого Сципиона, который разбил Ганнибала при Заме. Но покуда сведения о Сципионе Африканском до нее не дошли, она донимает желающих следующим разговором:

— Не тем народ занимается, не тем. Кто строит, кто ворует, кто железки всякие делает, кто деньги копит — и все не то. Результат, как говорится, налицо: сколько веков человек живет, кажется, давно уж пора наладиться ангельской жизни, а у него все одна думка-мечта: как бы посытнее налопаться да потеплее одеться. Конечно,

при таких идеалах откуда ей взяться, ангельской жизни? Кажется, до чего дошел прогресс, вон уж в космос летаем, а на прошлой неделе Пашка Штанов свою тещу чуть в колодце не утопил. Насилу ее откачали.

Если спросить Марфу Фоминичну, при чем тут, собственно, космос, она ответит:

— Вот уж правда, что ни при чем. Потому что и в космос летаем из пикового интереса, дескать, нельзя ли там чего-нибудь приспособить в случае нехватки земных ресурсов.

Подобные разговоры обыкновенно раздражают ее собеседников, и редкий человек не скажет ей сквозь раздражение:

— А что вы, бабушка, предлагаете конкретно?

— Я предлагаю, чтобы все, как один, занимались искусствами и сельским хозяйством; чтобы пешком ходили, поедом друг друга не ели, книжки читали и тэ дэ и тэ пэ. Вот я — живу как оно подобает: в огороде копаюсь и картины рисую — только два у меня занятия. Если интересуетесь насчет картин, то могу показать.

И она поведет вас в дом, где стены увешаны чудовищной живописью. Тут есть коты с человеческими головами, волки, танцующие кадриль, голубые озера, правильные, как блюдца, где плавают лебеди, оседланные усатыми кавалерами, и прочая дребедень. Но это ничего; что действительно плохо, так это то, что живопись Марфы Фоминичны можно также увидеть по воскресеньям на рынке в Клину. Конечно, жизнь есть жизнь: то надо, се надо, но все-таки для полноты философии было бы лучше, если бы Марфа Фоминична своими картинами не торговала. Ведь как жили древние философы: как думали, так и жили. Словом, в этом старческом случае есть своя червоточинка, однако я знаю случай, когда жизнь — совершенное переложение истины... ну почти совершенное переложение истины.

В двухстах километрах за Бийском когда-то жил па-

сечник дед Степан. Жил он неподалеку от большого села, названия которого не упомню. Пасека стояла в долине, образованной двумя правильными хребтами, похожими на обода; долину пересекал ледяной ручеек, обросший какой-то низкой колючкой. На пасеке добывался мед, и так, и в сотах, гналась медовуха и алтайская водка рачка. Водка эта гонится из молока и представляет собой прозрачную жидкость, по запаху и по вкусу мало похожую на спиртное. И водку, и медовуху дед Степан держал исключительно для гостей, которые бывали у него постоянно. А вообще жил он один. Его семья, состоявшая из старухи, трех замужних дочерей, зятьев и целого выводка внуков, жила в соседнем селе. Уж не знаю, какие между ними были недоразумения, но из родни деда Степана навещал один внук Алеша, мальчик редкостно рыжий, веснушчатый, озорной, по выражению деда — «крест чугунный». Придя на пасеку, Алеша всегда останавливался у изгороди и пронзительным голосом, от которого начинало звенеть в ушах, звал старика, чтобы тот его встретил и проводил до избы. Алеша боялся пчел, которые по непонятной причине не давали ему прохода, а деда не только никогда не жалили, хотя он сроду не употреблял ни сетки, ни дымаря, но даже, по слухам, летали его встречать, когда он куда-нибудь отлучался. Впрочем, это, скорее всего, сочиняют. А может быть, и не сочиняют, потому что дед Степан сам отчасти явление природы, и с этим миром у него должны быть особые отношения. Положим, он может сказать довольно незамысловатую вещь, например:

— Ты погляди, какое вокруг обустройство и полное равновесие сил! Каждая букашка себя понимает и свою линию гнет. Я прямо удивляюсь... — Но скажет это так сильно, с таким пониманием жизни, свершающейся окрест, да еще при этом так хитро подмигнет, что холодком обдаст и подумаешь, что он должен уметь общаться с кузнечиками или что из него может расти трава. Это

даже наверняка, что пчелы летают его встречать.

Когда я бывал на пасеке, дед Степан неизменно сажал меня угощаться, — в высшей степени хлебосольный был человек. На голый стол, выскобленный до матовой белизны, тогда выставлялась сковорода жареного картофеля, охапка душистого горного луку, сало, каменное на вид, и бутылок пять медовухи, закупоренных газетными пробками, — дурнее этой медовухи я сроду ничего не пил. Мы пили, ели и разговаривали.

— Что же ты один живешь, дед Степан? И не скучно тебе?

— Зачем скучать? Веселиться надо. Как прежде-то пели: веселие вечное.

— Неужели одному тебе веселее?

— Так точно.

— Ну, значит, ты по пушкинскому завету живешь.

— Это как?

— Пушкин говорил Гоголю: живи один.

— Значит, что так. Когда ты, то есть, в аккуратных летах, суета их и глупость как нож острый. Тоже за двенадцать километров, бывало, придут, удивляешься, как дошли, просят: дай, дед, похмелиться, моченьки нет. Ну, даешь, конечно, трясутся все. Они тут же за изгородью и сядут, налопаются ее, поспят — и обратно. Идут, друг за дружку держатся. Как дети малые, ей-богу!

Я слушал деда Степана и думал о том, что это, наверное, тот самый исключительный случай, когда человек вообще не делает зла, никакого зла, что почти невозможно. Я также думал о том, что, как это ни странно, мы не любим знаться с такими людьми, потому что они смущают нас своим совершенством и возбуждают нехорошее, ревностное чувство, отчасти даже похожее на неприязнь. Однако это чувство немедленно преображается в самую восторженную симпатию, подари нас такой человек просто расположением, которое мы воспримем как отпущение и приобщение к совершенству. Прямо мы

перед ним из благодарности будем на задних лапах ходить. Вот я однажды видел, как дед Степан разговаривал с каким-то громадным вихрастым малым, на которого боязно было смотреть. Как только они заговорили, у этого малого на лице мгновенно изобразилось такое смиренное выражение, что нельзя было не рассмеяться. Во все время разговора он держал наготове правую руку, на тот случай, если при прощании дед Степан предложит ему рукопожатие.

Или вот: однажды дед Стапан расстроил охоту. Кто знает, что значит охотник-сибирячок, кто знает, что для него охота, тот знает, что значит ее расстроить.

Дело было так. Однажды дед Стапан пошел в село, в магазин, так как у него кончились «серники», — спички дед Степан по старой памяти называл «серниками». В магазине как раз случилось какое-то недоразумение и было шумно. Вдруг все стихло: в магазин вошел растерзанный мужичок. Одежда на нем была изодрана, из телогрейки торчали окровавленные клочки серой ваты, грудь, правая сторона лица и обе руки были в крови, но по улыбке и общему довольно добродушному виду было понятно, что раны его неопасны. Он вошел и сказал, обращаясь к очереди:

— Товарищи! Такое дело, что медведь на меня напал. Отчаянный какой-то медведь, я прямо еле ноги унес. В связи с таким несчастьем прошу поддержать мою просьбу о выдаче лекарства в размере одна бутылка. В долг. Уж вы поддержите, товарищи, раз на человека свалилось такое горе, что он от хищника пострадал.

Очередь посочувствовала жертве, а мужики, присутствовавшие в магазине, уже было побежали за ружьями, когда дед Степан громко кашлянул и сказал:

— А ведь ты врешь, бродяга. Не может быть, чтобы медведь на тебя напал. Наверное, ты сам ему как-нибудь напакостил. Ну-ка говори толком, как было дело!

— Это что еще такое — напакостил?! — сказал оби-

женно мужичок. Ты давай, дед, отвечай за свои слова.

Мужичок шмыгнул носом.

— Повторяю для тугоухих, — продолжил он. — Медведь на меня напал, а не я на медведя. Как было дело: иду я, значит, своим путем, ну выпимши, а он с косогора на меня смотрит. Я ему даю наставление: зачем, говорю, ты здесь, такой-сякой, околачиваешься, что ли тебе тайги мало? Какую, говорю, моду взяли. Он на меня рычать. Ну, слово за слово...

Дед Степан засмеялся.

— Что ж ты хочешь, мил человек, — сказал он сквозь смех, — ты хоть последнего прощелыгу обидь, и то он на тебя драться полезет, а медведь, он так об себе понимает, что еще не всякий человек ему ровня.

Было бы странно, если бы после этих слов охота все-таки состоялась; охота не состоялась, тем более что вскоре за потерпевшим пришла жена, взяла его за руку и повела домой умываться.

Но как-то раз дед Степан неприятно меня озадачил. Припоминая слова, которыми он меня озадачил, я до сих пор не пойму: к чему он клонил, что имелось в виду? Как-то в воскресенье на дверях клуба появилась афиша, которая объявляла о лекции, имевшей быть в тот же вечер. Как точно называлась эта лекция, я не помню, но помню, что речь шла чуть ли не о смысле жизни, то есть о том, что нужно делать, как делать и с чего начинать, чтобы прожить счастливую жизнь, чтобы и тебе было хорошо и всем было хорошо. Я сильно завидую мудрецу из областного отделения общества «Знание», которому все это известно и который ухитрился сформулировать тему примерно втрое короче.

На лекцию пришло все село. Был и дед Степан с внуком Алешей; на старике была белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, из кармашка которой высовывалась расческа.

Лекция была скучная. Лектор почему-то все время

потел, хотя на дворе было прохладно и с утра даже накрапывал дождь. Левой рукой он постоянно утирался, а правую держал на весу и в особенно важных местах помогал себе этой рукой, делая что-то похожее на заколачивание гвоздей. Впрочем, говорил он справедливые вещи: о служении людям, о неустанных трудах, о благодейственных последствиях слияния с природой, но при этом почему-то все время приводил в пример Христофора Колумба. Я удивляюсь, как я досидел до конца.

Когда мы втроем выходили из клуба, я спросил:

— Ну, граждане, как вам лекция?

Алеше, разумеется, было уже не до лекции, и он сказал, задрав голову:

— Звезд-то сколь высыпало, батюшки-светы!

Но Степана вопрос, чувствовалось, задел. Он деятельно помолчал, видимо подыскивая слова, и потом сказал:

— По всему видно, что образованный человек. Говорил, говорил, а чего говорил — непонятно. Одно только понятно, что неправильно мы живем, не по науке...

Он вздохнул, помотал головой и вдруг добавил:

— Учись, Алеха. А то выйдет из тебя пень навроде меня.

Вот что это? как эти слова прикажете понимать? То ли здесь искреннее заблуждение, то ли злое лукавство, то ли прямое двуличие, которое хуже заблуждения и лукавства. Я полагаю — двуличие. Хотя это вынужденное и, стало быть, отчасти извинительное двуличие. Разве мы не извиняем первому коммунисту Мабли, что он был священником? — извиняем, и Галилео Галилею его отречение извиняем, а Иисус Христос вообще прикидывался плотником — тут уж ничего не поделаешь, с волками жить, по-волчьи выть. Наконец, разве, общаясь с детьми, мы все, как один, не прикидываемся дурачками.

Вот вам наглядный пример: по соседству со мной живет странный старик; он бледен как смерть, только нос у

него красный и навевает сравнение с яркою заплатой «на ветхом рубище певца»; я несколько раз разговаривал с ним и удивлялся тому, насколько суждения его дерзки и нелепы; например, он утверждает, что, судя по улыбке и общему выражению лица, Джоконда страдала идиотией; уж не знаю, чем я заслужил его особое расположение, но однажды старик дал мне прочитать философский трактат, — оказывается, он писал философские трактаты.

Вопреки ожиданию, этот трактат был весьма дельным сочинением, если только отбросить авторскую позицию, которая в нашем народе называется — много о себе понимать. В нем трактовалось о страхе смерти. В конце концов старик толково доказывал, что бояться смерти так же совестно и глупо, как бояться привидений и домовых, что этот страх искусствен и внушен человечеству изящной литературой, которая только им и живет. Особенно мне понравилась одна его мысль, до того, что называется, лежащая на поверхности, что странно, почему она никому не приходит на ум, а именно: отчего человеку дико, что он умрет и его никогда больше не будет? Ведь до появления на свет божий его тоже никогда не существовало... Правда, потом мне припомнилось, что, кажется, я с этой мыслью уже где-то встречался, но общего благоприятного впечатления мое подозрение не изменило. Я пошел к старику, чтобы вернуть ему рукопись и наговорить комплиментов.

Он сидел в кресле закутанный в плед, в ногах у него была грелка, под мышкой термометр. Лицо его выражало тоску и крайнее беспокойство. «Вот те на! — подумал я. — Доказывает, что глупо бояться смерти, а самого, наверное, пот прошибает, как подумает, что и простуда сулит летальный исход». Действительно, старик вытащил термометр, с трепетом на него посмотрел и сказал, чуть не хныча:

— Обратите внимание: третьи сутки температура тридцать семь и семь!

Меня разобрало.

— Послушайте, — сказал я, — а чего вы, собственно, кипятитесь? Ну помрете. Ведь это так же просто и нестрашно, как заснуть.

— Вы тоже скажете, ей-богу, — ответил он и обиженно замолчал.

Одним словом, в силу целого ряда внешних причин стариковская мудрость не обязательно освобождает от легкомыслия и оглашенности. Больше того, каким-то чудом эти качества уживаются, — правда, я этого напрочь не понимаю. Гёте, уж на что, кажется, всем умникам умник, и тот, будучи в последнем градусе стариком, влюбился в одну семнадцатилетнюю дурочку. А на какие пылкости способны наши отечественные старики! Представьте, Менделеев с адмиралом Макаровым насмерть рассорились из-за того, куда плыть «Ермаку», и с тех пор вражески третировали друг друга. Лев Толстой восьмидесяти лет от роду, как мальчишка, бежал из дома, протопоп Аввакум пошел на костер потому, что ему не нравилось креститься щепотью, а принц Александр Петрович Ольденбургский из озорства ставил сонной няньке клистиры. Я сам не однажды встречался с удивительными старческими страстями; одну из таких встреч мне не позабыть никогда.

В позапрошлом году я ездил в Вологду, на могилу к одному замечательному поэту. Попутчиками моими были два старика: один пенсионер, бывший плотник, со скуластым лицом и такими громадными, изработанными руками, что всякий раз, как они попадались мне на глаза, меня подмывало встать, как при исполнении государственного гимна; другой был ученый-почвенник.

Первое время после знакомства мы вели пустой разговор, но потом старики заговорили о прошлом, и тут стряслось нечто такое, о чем я до сих пор вспоминаю с замиранием сердца. Из разговора о прошлом внезапно выяснилось, что в двадцатом году плотник воевал про-

тив Врангеля у Буденного, а почвенник был картографом во врангелевском штабе. Правда, впоследствии он принял советскую власть и даже одно время преподавал топографию в Академии Генерального штаба, покуда его не привлекло научное поприще, но в глазах плотника это обстоятельство, видимо, было не в состоянии его обелить. Плотник насупился, подобрался, стал страшно баловаться исковерканными кулаками, и, я думаю, останься они одни, дело не обошлось бы без рукоприкладства. Больше они не разговаривали.

По прибытии в Вологду, когда мы стали прощаться, плотник троекратно меня поцеловал, а на почвенника даже не посмотрел. Я пожалел почвенника. Это был легкий, седенький старичок, который, на мой взгляд, уже давно не мог вызывать никаких классовых антипатий.

В Вологде, на площади перед вокзалом, я сел в третий номер автобуса и доехал до гостиницы «Север». Я уже мысленно навсегда распростился со своими попутчиками и поэтому был очень удивлен, когда снова встретился с ними в гостиничном вестибюле. Обстоятельства этой встречи были драматические: на полу вестибюля валялось несколько разбитых цветочных горшков и пальма, с корнем вывороченная из кадки; почвенник был красен, растерзан и безуспешно, но настойчиво пытался поправить галстук, который болтался у него за спиной; плотник страшно вращал зрачками, кричал так, что было слышно на улице:

— Пристроился, гад! Я — бывший буденный боец и без койки, а этой вражине люкс?! Он же беляк, товарищи, контрик! Как же это?..

— Как вам не стыдно, гражданин, — сказала администратор, — какую вы плешь несете!

— Да ты послушай! Мы с ним в двадцатом году в Крыму рубались. Он сам признался, что он контра, как мы сюда ехали. И эту гадину вы собираетесь услаж-

дать? — Плотник обернулся к своему врагу, замахнулся и прибавил: — У, змей!

— Да ведь сколько лет прошло, — сказал кто-то из публики, — не понимаю, чего вы выступаете?..

— Чего я выступаю? — вдруг дико закричал плотник. — А то я выступаю, драгоценный мой гражданин, что человек не гусеница. Это только у гусениц так: сегодня ты гусеница, а завтра бабочка «павлиний глаз». Человек, он какой был, такой и остался. Я как был полста лет большевик, так им и буду до последнего вздоха, хоть я и малограмотный плотник. А эта умная сволочь при всякой власти приладится, ей при всех тепло. Ну, я жалею, что прошли хорошие времена! Мне бы сейчас трехлинейку, на худой конец — наган-пистолет, я бы навел соответственную справедливость.

Мне страшно сознаться, но тогда я подумал, что, будь у меня трехлинейка или, на худой конец, наган-пистолет, я бы без колебания вручил плотнику оружие справедливости — вот до какой степени заразительны эти стариковские страсти. Я потом долго стеснялся своего побуждения.

Скандал в гостинице «Север» навел меня вот еще на какую мысль: память — первый враг мудрого старческого бытия. Впрочем, иногда они ухитряются умно устроить дело. Возьмем мою бабку, восьмидесятилетнюю старуху. В первую мировую войну она была сестрой милосердия и в полевом лазарете познакомилась с раненым прапорщиком, моим несостоявшимся дедом. Этот дед потому не состоялся, что по выздоровлении его прикомандировали к русскому экспедиционному корпусу, который сражался на франко-германском фронте. Бабка долго не имела о нем никаких известий и только в двадцать четвертом году как-то узнала, что ее прапорщик был убит на дуэли в лагере галиополийцев. С горя она вышла замуж за одного тихого бухгалтера — это и есть мой дед. С ним моя бабка жила как у Христа за пазу-

хой, уважительный и работящий был человек, хотя одно время ей все-таки пришлось потрудиться на подольском заводе, о чем она всегда вспоминает с неудовольствием. В сороковом году, о котором моя бабка говорит «только-только жить начали», тихого бухгалтера уходило воспаление легких. Во время Отечественной войны погибли двое ее сыновей, двое моих дядьев. Один был убит под Сталинградом, другой в сорок четвертом году умер в госпитале в Саранске. Ее единственная дочь погибла в сорок восьмом году во время ашхабадского землетрясения. Моего отца она тоже пережила.

Сейчас моя бабка на пенсии, целыми днями она сидит на скамеечке возле подъезда и разговаривает со своими подружками. Когда я приезжаю ее навестить, то первым делом спрашиваю:

— Ну что, Ольга Ильинична, как твоя жизнь?

— Хорошая жизнь, слава богу, — отвечает она. — Вот сейчас со старушками обсуждение закончим и чай пить пойдем.

Чаю она пьет стаканов двадцать за раз. За чаем я обязательно попрошу ее что-нибудь рассказать о своей жизни.

— А я и не помню ничего, — ответит она. — Все позабыла вчистую.

Впрочем, я спрашиваю из озорства. Я наперед знаю, что она поломается-поломается и расскажет о том, как в тридцать шестом году на выпускном вечере школы Осоавиахима она танцевала польку с маршалом Рокоссовским.

ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК

Сколько народу ни поуходило из нашей деревни Заступино, сколько его ни расползлось кто куда от наших гречишных полей, от трех одиноких ветел, стоящих на

лысом пригорке, от оврага, называемого нашими деревенскими просто «яма», от речки Незнайки, возле которой тонко-претонко шумит камыш, о них не болит мое измученное писательским занятием сердце, но оно холодеет и обливается кровью по тому коренному заступинскому мужику, которому наш сельсоветский никогда не выписывал справки на получение паспорта. В те далекие времена, когда мой земляк Иван Семенович Пучеглазов, из тех Пучеглазовых, которых у нас на деревне восемнадцать дворов, уходил из заступинской земли на чужбину, наш сельсоветский хорошо если умел держать голову, да и то, полагаю, вряд ли, поскольку было это на второй год гражданской войны.

С тех пор мы только однажды получили весточку от Ивана Семеновича. Три или четыре года тому назад в нашу деревню пришла открытка, изображавшая свечу с золотыми разводами, с надписями по-французски, которые потом носили читать в Сенцово, где была восьмилетка, и короткой запиской на обороте. «Дорогая сестра моя Пелагея! — было написано на обороте. — Поздравляю тебя с праздником светлого Воскресенья Христова и желаю благополучия». Последние слова «Христова и желаю благополучия» были запачканы штемпелем, и их долго не могли разобрать, но когда разобрали, то несколько раз с торжественным выражением прочитали вслух Пелагее, немощной и древней старухе, которая никак не могла понять, что от нее хотят, и даже заплакала от страха и недоумения.

Больше об Иване Семеновиче не было ни слуху ни духу. Наши мужики еще некоторое время потолковали о нем, сидя на бревнах, наваленных возле клуба, и покуривая самокрутки с мизинец величиной, но так как вскоре, под Красную горку, Меньшиков-младший наехал бульдозером на избу своего разлучника Василия Пучеглазова, то об Иване Семеновиче позабыли, и только когда приезжали погостить городские, им не без гордо-

сти объявлялось, что один из заступинских мужиков «основался» в Париже. Так что теперь я, пожалуй, единственный человек в деревне, который думает об Иване Семеновиче Пучеглазове, и дума эта томит меня, как боязнь темноты или участившиеся в последнее время боли в затылке. Я несколько раз приставал с расспросами к Пелагее, но в ответ она только смотрела на меня странными, радостными глазами и говорила: «Да что уж тут, право слово», и, надо полагать, принимала меня за кого-то другого, скорее всего за нашего почтальона, который носит ей пенсию и денежные переводы из города Кингисепп.

По вечерам, когда заступинские окрестности величаво преображаются и три ветлы у околицы делаются похожи на маленькое стадо слонов, я выхожу пройтись. Дойдя до того места, где деревенская улица уже не деревенская улица, а проселок, я облокачиваюсь об изгородь, назначение которой мне непонятно, и начинаю думать об Иване Семеновиче, покуда мои глаза не повернутся ко сну. Я думаю, думаю и в конце концов на меня нападает упоительная тоска. «Как поживаешь, Иван Семенович? — говорю я в такие минуты внутренним голосом, в котором сквозит слеза. — Как поживаешь, чудак-человек? И что ты думаешь о своей жизни, вот что интересно? Лично я придерживаюсь того мнения, что пошла твоя жизнь, как говорят наши мужики, псу под хвост. Это не потому, что ты, наверное, беден и одинок, а потому, что, если ты нормальный русский мужик, не может тебе быть на чужбине ни удачи, ни спокойствия, ни привета. Я не знаю, в чем тут загвоздка. Это большой секрет. У Достоевского есть слова «химическое единство», а наши мужики опять же просто говорят: где родился, там и сгодился. Конечно, председателем сельсовета тебя не выберут, но, положим, работал бы ты в нашей плотницкой бригаде или, на худой конец, в конторе писарчуком. А вечером посидели бы с мужиками на

бревнах возле клуба, покурили бы, потолковали о том, какое это имело бы политическое звучание, если бы Наполеона взяли в плен при переправе через Березину...» Вслед за этим я стараюсь представить его себе и вижу сухонького, скуластого старичка с подобранными губами. Я вижу, как он кипятит себе молоко, потом — как он чистит в передней пальто и шляпу, потом — как выходит проветриться. На улице он первым делом покупает газету, но непременно старую, так как она дешевле, а Иван Семенович до последней крайности стеснен в средствах. Хотя за многие годы жизни среди народа проворного и в высшей степени аккуратного во всем, что касается денег, Иван Семенович, видимо, давно уже выучился тому, что он до сих пор называет «копейничать», и теперь не только умудряется сводить концы с концами, но и выгадывает себе маленькие удовольствия вроде покупки старой газеты или еженедельного посещения «синема».

Затем я вижу, как Иван Семенович садится в автобус, несколько остановок таращится в забрызганное окошко и, сойдя где-нибудь возле Мадлен или на площади Согласия, дальше идет пешком, разгоняя попутно своим «костылем» и словами «кыш-кыш» колонии голубей и останавливаясь через каждые сорок шагов для переведения духа. Мне вдруг так явственно слышится это его «кыш-кыш», точно кто-то шепчет «кыш-кыш» у меня над ухом, — тогда у меня открывается горькое пощипывание в ноздрях, какое бывает от луковичного духа.

Тем временем Иван Семенович выходит на набережную возле моста Александра III и поворачивает налево, к саду Тюильри, где он всегда читает свою газету.

Газету Иван Семенович начинает читать с заголовков, по-европейски, потом обращается к комиксам, помещенным на предпоследней странице, и, наконец, берется за отдел происшествий. Больше всего его интере-

суют сообщения о нелепых смертях, о случайностях, приведших к трагическому концу, и разное в этом роде, по преимуществу роковое.

«Вот умерла какая-то девочка, — рассуждает он сам с собой, прикрыв глаза и сложив газету, — умерла потому, что доктор, потеряв на падении курса акций половину своего состояния, был рассеян и перелил ей кровь совсем не той группы, которой следовало. И, значит, если кому-то не приспичило бы играть на понижение, то девочка была бы жива. Из этого мы опять же выводим, что всем на свете управляет дурацкий случай, и только ему одному подвластны и безвременная смерть, и болезни, и беды. И если, допустим, человек несчастлив и одинок, если он прожил отпущенный ему срок совсем не так, как бы ему хотелось, то виновен в этом не он, а то, что сильнее любого разума и всякой воли, — виновен случай. И тут уж ничего не попишешь, тут надо смириться и не думать о том, что все могло бы выйти иначе, а то будет совсем невозможно жить».

Мне кажется, что у Ивана Семеновича к концу его дней выработался самостоятельный взгляд на логику человеческой жизни, который заключается в том, что тут, собственно, никакой логики нет. Наверное, он полагает, что всякая судьба сплошь состоит из совершенных случайностей и складывается из них, как, скажем, стена складывается из кирпичей, каковое убеждение ежедневно подкрепляет газета; причем в этом деле наблюдается единственная закономерность: течение жизни зависит только от, так сказать, качества материала и принципа кладки. Правда, на этот счет существуют другие суждения, но Иван Семенович их не может принять, так как, оглядываясь на то, что было прожито им самим, он не видит позади ничего, кроме бессмысленной череды всевозможных случайностей, которые в конце концов диковинным образом привели его в чужой, суматошный, сквалыжный город, где русскому человеку, что ни гово-

ри, не житье. «А что, если бы в тот день,—спрашивает он себя, — сестра Пелагея не объелась бы кулешу? Как бы тогда повернулась жизнь, где бы я был и что-то со мною было?»

Вслед за этим начинаются не то чтобы поиски вразумительного ответа, а попытки пробудить в себе такие еще не вылупившиеся воспоминания, из которых сам по себе вышел бы нужный ответ. Вспоминается, однако, одно и то же. Вспоминается наше Заступино с церковью на пригорке, весело белеющей из-за кладбищенских лип, которую давным-давно растащили на кирпичи, вспоминается родительский двор, рябина, росшая под окном, разные мелочи. Может быть, вспоминается ни с того ни с сего запавший в памяти вечер: солнце, как и теперь, зашло, смеркается, но света в деревне не зажигают — наши заступинские обожают сумерничать. Где-то на речке тонко и жалобно поют женские голоса, в печке потрескивают дрова, под лавкой заливается сверчок — и от всего этого на душе делается так светло, так непереносимо светло, что нужно заплакать, чтобы не надорваться.

А впрочем, воспоминания Ивана Семеновича смутны и малоправдоподобны, как будто это и не воспоминания, а что-то читанное, слышанное или виденное в «синема». Поэтому если его и донимает в эту минуту мучительная тоска, то это тоска не по тому, что было, а по тому, что могло или даже должно было быть.

За мыслями об Иване Семеновиче я не замечаю, как вокруг меня образуется темнота. На небе одна за другой проступают звезды, которые подмигивают мне, как заговорщики, разгораясь до положенного накала. Тогда я вижу, как по дороге, белеющей в темноте, идет наш деревенский умник Егор. Это положительный, разговорчивый человек, который отличается еще тем, что он вообще не спит. По ночам он сидит на бревнах, сваленных возле клуба, и кашляет.

— Как поживаешь, Егор? — спрашиваю я его, когда

он подходит и облокачивается об изгородь рядом со мной.

— Обыкновенно... — отвечает Егор и начинает сворачивать самокрутку, каких у нас не сворачивает никто: упитанную, длинную, смаления примерно на полчаса. Родом он из другой деревни. — Опять у меня вышел с Меньшиковым скандал, — говорит он и начинает давиться кашлем. — Давеча захожу в контору, говорю ему: «На станции третьи сутки колхозный кирпич простаивает, почему это такое?» Он на меня орать: «Чего суешься, заноза, какое твое собачье дело?» — «А такое, говорю, дело, что ты через свою бесхозяйственность скоро колхоз по миру пустишь». Без малого до рукопашной дошло.

— Ну так что? Привезли кирпич?

— Привезли, в тот же день привезли, у меня не забалуешь. — Он глубоко затягивается и спрашивает сквозь дым: — А ты чего здесь прохлаждаешься? Все сочиненья свои сочиняешь?

Я ничего на это не отвечаю, и мы замолкаем. Некоторое время я думаю о том, откуда у людей берется это обременительное и странное чувство родины, которое и дома-то форменное страдание, а на чужбине такое, должно быть, страдание, что страшнее его только смерть. Но проходит минута, другая, мои мысли постепенно возвращаются в прежнюю колею, и я начинаю думать о том, что в Париже теперь час «пик». Улицы, площади, набережные запруживает народ и легкомысленные французские автомобили. На скамейку, где расположился Иван Семенович, должно быть, подсаживаются и всячески его отвлекают. Потом наступают сумерки, Ивана Семеновича начинают одолевать одышка и самые тяжелые воспоминания.

Ему вспоминается, как в их краях объявили мобилизацию в Красную Армию, под которую попали трое его старших братьев; как гремел духовой оркестр, когда новобранцев провожали на фронт, как пели песни и как он

очень ловко обманывал общество, раскрывая по-рыбьи рот, якобы подпевая, в то время как он отнюдь не знал слов. Он вспоминает, как месяца три спустя поступило известие о гибели братьев Пучеглазовых на Восточном фронте под Бугульмой. Главным образом, тогда его поразило соображение, что вот, дескать, были у него братья, а теперь их нет и уж больше не будет, и что во всем этом виновата мобилизация. Тогда он подумал, что в один прекрасный день, когда воевать станет некому, могут прийти солдаты с винтовками, объявить мобилизацию и ни за что ни про что записать его на неминуемую погибель. Эта мысль так его напугала, что он решил, пока то да се, отсидеться в баньке. В тот же вечер он засел в баньку, которая стояла далеко на задах и была почти не видна в зарослях черемухи, болиголова и бузины. Выходил он только по ночам: шел в избу за провизией и махоркой, прогуливался по двору или шел задами к реке; если же вдруг начинали брехать собаки, он отлеживался в бурьяне до тех пор, пока не наступала окончательная тишина.

Поздней осенью пришли белые. В соседнем селе Сенцове расквартировался артиллерийский дивизион, и теперь Ивана Семеновича часто будили пушки, которые постреливали за рекой и, бог его знает, возможно, провозглашали новую мобилизацию. Теперь Иван Семенович боялся выходить даже с наступлением темноты. Томительными часами он просиживал взаперти, курил и прислушивался к подозрительным звукам, которые то и дело доносились с улицы и двора. Вот кто-то крикнул, вот что-то звякнуло, вот за стеной раздалось какое-то загадочное пощелкивание; Иван Семенович знал, что это кричит пьяница Филимон, что звякают ведра, с которыми пошла по воду его сестра Пелагея, что в стене пощелкивают тараканы, и все же ему казалось, что это идут записывать его на неминуемую погибель.

Трудно сказать, как впоследствии сложилась бы

жизнь Ивана Семеновича, не случись с ним вскоре нелепого и крайне обидного происшествия — он себя выдал. Однажды ночью он пошел в избу за махоркой. Накануне мамаша счастливо выменяла меру пшена и немного сала на совершенно новое колесо и наварила большой чугунок кулешу, которым из жадности и, что называется, про запас объелась его сестра Пелагея; Пелагее стало плохо, и матери пришлось бежать в Сенцово за военфельдшером. Вот почему, явившись в ту ночь в избу, Иван Семенович застал в ней военного человека, который мыл руки и скоро ушел, но прежде так неодобрительно на него посмотрел, что Иван Семенович утром добровольно пошел в Сенцово, чтобы, не дай бог, не случилось чего-нибудь даже пострашнее мобилизации, вроде немедленного расстрела за сидение в баньке.

Теперь Иван Семенович думает, что свалял дурака, но тогда он был очень доволен, полагая, что обвел судьбу вокруг пальца и избежал ужасного наказания. Особенно он был доволен тем, что его определили в дальнобойную батарею, где давали привилегированный паек, поскольку он относился к той, сравнительно малочисленной категории русских людей, вообще наделенных особенным чувством правды, которые преданно служат любому делу, если им за это причитается порция щей. Возможно, в Иване Семеновиче сказалось бы природное чувство правды, если бы он дрался на передовой, видел кровь и, главным образом, видел бы то, как воодушевленно льет кровь противник, но он неизменно находился во втором эшелоне и сеял, так сказать, заочную смерть. То есть это неудобопонятно, но, в сущности, война обошла Ивана Семеновича стороной. За год с небольшим фронтовой жизни он даже убитых видел только однажды. Это были последствия кавалерийской схватки, самого дикого и нечеловеческого, что могло быть на той войне. Зрелище ужасных сабельных ран так поразило Ивана Семеновича, что он двое суток не дотрагивался до еды.

Однажды ему открылась возможность сдаться, и он уже рисовал себе, как возвратится в Заступино, но, в конце концов, его остановило соображение, что в плену ему наверняка не дадут привилегированного пайка. Только накануне катастрофы, под Новороссийском, когда, по сути дела, ни артиллерийского дивизиона, ни дальнобойной батареи, ни самой армии уже не существовало, Иван Семенович решился и дезертировал, но по воле злополучного случая был задержан казаками, которые, как он думал, были сняты или же снялись сами собой. Прежде его неминуемо бы расстреляли, но тогда из-за непорядка и какой-то всеобщей апатии, только побили и воротили назад.

Вернувшись в Новороссийск, Иван Семенович целыми днями слонялся по опустевшим улицам, вдоль которых противный ветер гонял клочья сена, колючий снег, тряпье, обрывки газет и хлопал незапертыми дверями и ставнями. Временами ветер менялся, начинало дуть с моря, и тогда по улицам распространялся терпкий больничный запах.

Вероятно, Иван Семенович, как и предполагалось, переждал бы эвакуацию, пересидел бы где-нибудь приход красных и пошел бы себе в Заступино, но, на несчастье, он взял обыкновение каждый день ходить в порт, где подолгу смотрел, как громадные пароходы грузились людьми, чемоданами и несгораемыми шкафами и часто случались забавные недоразумения. На третий день новороссийской эвакуации с ним, разумеется, приключилась досадная и, как оказалось впоследствии, роковая случайность. В тот день Иван Семенович наблюдал за погрузкой парохода «Великий князь Константин». Какой-то молодой офицер, который тащил металлический чемодан, остановился возле него передохнуть и потом сказал: «Помоги-ка, братец...» Иван Семенович помог офицеру втащить на верхнюю палубу чемодан и собрался назад, но тут оказалось, что пробиться назад невозмож-

но из-за толчеи, которая образовалась на трапе, так что ему оставалось только усесться на верхней палубе среди каких-то железных ящиков и начать думать о том, как это может быть другая, не русская земля, и что там живут за люди, и можно ли с ними жить. Но когда диким голосом прогудел прощальный гудок, отдали швартовы и стали отваливать, Иван Семенович забегал по палубе.

Ему стало страшно, и, бегая, он спрашивал себя с ужасом, куда и зачем он едет, с какой стати его, может быть, навсегда увозят от родного Заступина, от мамаши и от сестры Пелагеи. Было мгновение, когда Иван Семенович уже хотел броситься за борт, но берег был далеко, а он едва умел плавать. Ему стало так горько, что он сел на железные ящики и заплакал. Уже стемнело, уже два раза начинал и переставал валить снег, а он все сидел на ящиках, плакал и спрашивал себя с ужасом, какая нелепая сила увозит его?

Теперь Ивану Семеновичу известен виновник всех его бед. «Как ни крути, — говорит он себе, поерзывая на скамейке, — а человек, будь он хоть семи пядей во лбу, ничего не может поделать со случайными превратностями судьбы. И все-таки жаль, что все сложилось именно так, как сложилось, а не иначе. Ведь не приведи тогда Пелагею объесться проклятого кулешу, все могло получиться куда счастливей. Ах, как жаль! Жаль и себя, и нескладной жизни, жаль того, что вообще родился на свет, где нельзя жить как надо, а надо так, как положено случаем, а главное, жаль, что ничего не воротишь, этого особенно жаль».

В саду, на набережной вдруг зажигаются фонари. День еще совсем не погас, и фонари навевают Ивану Семеновичу неопрятное чувство, какое должно быть у человека, который давно не менял белья.

Тогда Иван Семенович поднимается со скамейки и едет домой.

Дом его в предместье. Выйдя из автобуса, он идет пешком два квартала и попутно взбирается по лесенке на высокую автостраду. Он долго смотрит в ту сторону, куда с Восточного вокзала отправляются поезда. В эти минуты у него на лице появляется такое странное, отсутствующее выражение, что кажется, будто нечто, называемое душой, покинуло его тело и витает далеко-далеко, может быть, там, где маленькая церквушка весело белеет из-за кладбищенских лип, там, где, может быть, по-прежнему возле речки тонко и жалобно поют женские голоса и где, не случись Пелагее объесться злополучного кулешу, могла бы получиться другая жизнь, возможно много счастливее нынешней. Во всяком случае, не нажилось бы само собой то страдание, страшнее которого — только смерть.

Тем временем наш деревенский умник Егор выкуривает свою самокрутку и, поплевав на окурок, собирается сворачивать новую, но вдруг цепенеет и заглядывается в темноту.

— О чем размечтался? — спрашиваю его я.

— Да вот думаю, какой все-таки черт этот Меньшиков. Никакой угрозы на него нет. Это же надо, чтобы колхозный кирпич по трое суток простаивал, а ему хоть бы хны?! Да вот говорят, что теперь виноватых нет, солнце всему виной, какой-то там у него непорядок...

ОБМАНЩИК

Я смотрю на него и недоумеваю. Этот очень маленький, немолодой человек, который сидит теперь у окна и глядит во двор, зарабатывает пропасть денег, у него квартира, золотая жена, двое детей, уважаемая профессия и его даже кое-кто любит. Но зачем он врет? Поче-

му он не может прожить и дня без того, чтобы нелепо, ненужно, по-глупому не соврать? Не понимаю...

— Юрий Михайлович! — говорю я ему, и он переводит на меня туманные, невидящие глаза. — Юрий Михайлович, как называется город по ту сторону бухты от Сан-Франциско?

— Окленд... — отвечает Юрий Михайлович.

Он сроду нигде не бывал, я сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь заезжал дальше Тарасовки, где у него дача, но географические познания его необыкновенны. Он, не задумавшись, назовет вам административный центр острова Сулавеси, численность населения федерального округа Колумбия, длину Брахмапутры с точностью до одного метра, главную улицу города Семипалатинска и все семь чудес света. Он говорит, что будто бы в молодости служил моряком и объехал весь мир.

— В Окленде я был одиннадцать раз, — добавляет Юрий Михайлович и опять отворачивается к окну.

Об Окленде он любит порассказать. Он толкует, что будто бы во время второй мировой войны водил туда транспорты из Владивостока. Как-то раз они со старшим помощником капитана зашли в ресторан, где кроме них не было ни души.

— Вы представляете, — говорит он, разводя руками и делая испуганные глаза. — Никого! Хорошо, садимся. Только сели, подлетает официант. А мы со старпомом, вообразите себе, по-английски ни бум-бум, ничего не знаем, кроме родного русского наречия. Поэтому тыкаем пальцем в самые короткие строчки, полагая, что чем короче, тем, значит, дешевле. Вдруг на эстраду выходит маленький русский оркестр и заводит «Катюшу». Потом еще что-то из отечественного репертуара, а есть не несут. Что такое? Подзываем метрдотеля. Приходит метрдотель, и как вы думаете, кто это был? Генерал Краснов, собственной персоной! Весь в орденах, с бородой... Мы ему то да се, а он говорит, что мы не еду, а

музыку заказали, что, дескать, вы хамы и что-то еще загнул про калашный ряд. Ну мы его, контру, распатронили, век будет помнить! Сам ты хам, говорю. Кто честное генеральское слово нарушил, я? Или, может быть, старший помощник? Ты, говорю, образина, нарушил. Вот и выходит, что ты есть хам первой марки. Обиделся старик...

Вообще Юрий Михайлович врет очень правдоподобно. Его басни обычно оснащены такими подробностями и живописными обстоятельствами, что, кто не знает, что он обманщик, верит ему всерьез. Я тоже когда-то верил, тем более что был наслышан об истории генерала Краснова, плененного и отпущенного на свободу под честное слово, а также об оклендских кабаках и русских американцах. Помимо этого, Юрий Михайлович неплохой рассказчик и знает меру. Если его спросить, бывал ли он в городе Сакраменто, штат Калифорния, он все-таки скажет, что не бывал. Для пущей правдоподобности. Правда, при этом у него на лице появляется тоскливое выражение, видно, что ему ужасно хотелось сказать, что бывал, но — нельзя.

Настоящий прилив фантазии можно вызвать у Юрия Михайловича, если поинтересоваться происхождением какой-нибудь из вещичек, которые во множестве расставлены в его кабинете. Кораблик в пивной бутылке сделал он сам — это неправда. Колчан из змеиной кожи, вышитый бисером, подарен ему вождем племени, то ли айдахо, то ли айвова, Доном Легкой Ногой — это, разумеется, тоже неправда. Человеческий череп, который стоит на столе и давно служит пепельницей, принадлежит самому Чингисхану — это, согласитесь, вообще ни в какие ворота не лезет. Но самые потешные обстоятельства связываются Юрием Михайловичем с коротким самурайским мечом, который он когда-то купил в антикварном магазине на старом Арбате, был такой магазин.

— В сорок пятом году, в августе, я командовал

взводом трофейщиков, — рассказывает на этот счет Юрий Михайлович и давится от удовольствия. — Били мы японцев под Мукденом и под Харбином, а также в районе города Дальнего....

Однажды иду я со своими трофейщиками по полю брани, — бой уже день как прошел, и наши были километрах в пятидесяти впереди нас, — иду, стало быть, вдруг — что за комиссия?! Навстречу — не меньше полка японцев. Вы представляете картину: поле, тут раненые, там убитые, дым стелется, а японцы идут церемониальным шагом, сами все потрепанные, побитые, иные без ботинок, жалко смотреть.

Увидели нас, остановились. Вперед выходит офицер, говорит что-то, все бросают винтовки и достают ножи. Ну, думаю, порежут они нас сейчас ни за понюх табаку. Однако идем. Вдруг офицер задирает у себя на пузе рубаху и дает команду «делай, как я» — есть такая команда. Все ясно, это они сейчас будут делать себе харакири. В плен не хотят сдаваться, мать их растак...

Хотя это и их личное дело, но все-таки неприятно. Ну что за дичь: без малого тысяча мужиков сейчас повыпускают себе кишки, и все здоровые, кровь с молоком — прямо обидно! Одним словом, я не вытерпел, поднимаю вверх руку и говорю:

«Товарищи! Вы отдаете себе отчет во всей несуразности этого поступка? Такая культурная, такая древняя нация, а глупостью занимаетесь. Японский народ дал миру Басё и Акутагаву Рюноске, а вы прямо позорите эти величественные имена, устраивая на глазах у противника живодерню...»

Хотите верьте, хотите нет — засомневались японцы. Мнутся, смотрят в другую сторону. Потом подходит ко мне офицер и со слезою в голосе говорит: «Вы, говорит, товарищ, своими проникновенными словами сейчас на многое открыли нам глаза. Действительно, нас ждут в Японии наши японки, а мы тут выкаблучиваем неиз-

вестно что». Тут он отдает мне честь по всей форме и вручает свой самурайский меч...

— Юрий Михайлович, — обычно прерываю я его в этом месте, — ведь это выходит, что вы целый полк в плен взяли. Как же это вас не представили к ордену? — То, что он по-японски не знает ни одного слова, почему-то никогда не приходит мне в голову.

— Вы, молодой человек, не знаете, как дела делаются, — с обидой отвечает Юрий Михайлович. — В конце августа представили меня к ордену, а в сентябре представление нарочно затеряли. Я с командующим фронтом был на ножах...

Ну что ты скажешь? Ничего не скажешь...

Иногда, к чести Юрия Михайловича, относительно редко с ним приключается настоящий припадок по части лжи. Накануне лицо его приобретает ненормальное выражение, он день напролет ходит из угла в угол, и когда начинает врать, то врет, уже совершенно пренебрегая правдоподобностью и здравым смыслом. Вот не так давно у его супруги было обострение тромбофлебита. Все домашние сбились с ног, но Юрий Михайлович к ней даже ни разу не подошел. Он перестал разговаривать и вообще вел себя так, как будто был насмерть обижен.

Когда дела пошли на поправку и хозяйка начала уже понемногу ходить, Юрий Михайлович как-то назвал гостей. Пили чай, курили и разговаривали. Все было обыкновенно, разве что гости чувствовали себя немного натянуто, часто сбивались на шепот и жалобно поглядывали то на хозяина, то на хозяйку. А на третьем стакане чаю разразился гром среди ясного неба. Хозяйка вдруг встала в первый раз за вечер и за чем-то пошла на кухню. Сначала установилась изумленная тишина, о которой говорят «тихий ангел пролетел», а затем кто-то из гостей произвел легкий вздох и спросил у хозяйки, когда она воротилась с кухни:

— Так у вас две ноги?..

Впоследствии оказалось, что Юрий Михайлович наврал всем знакомым, будто бы у его жены отняли левую ногу. Собственно, гостей он назвал, имея в виду даже что-то вроде поминок. Наверное, ему захотелось, чтобы и его пожалели.

Но самое странное, что в остальном это нормальный, вполне порядочный, милый и отзывчивый человек. Он мухи не обидит, снимет с себя последнюю рубаху, и если кому-нибудь можно сделать приятное, то он обязательно сделает.

Я думаю о загадочном складе его характера, когда теперь гляжу на него. Он по-прежнему сидит у окна и с тоскою смотрит во двор. И вдруг мне его делается так жалко, так жалко, что хочется поцеловать его в жидкий, просвечивающий затылок.

СМЕХ ЖИЗНИ

Жизнь моя сложилась нехорошо. Если бы у меня были враги, которых у меня нет, они были бы совершенно удовлетворены.

Я распространяюсь об этом к тому, что сегодня утром в помойном контейнере мною был найден любопытный пакет. Но для того, чтобы всем было ясно, с какой такой стати человек таскается по помойкам, я вынужден начать не с пакета, с которого, собственно, следовало бы начать, а с того, что жизнь моя сложилась нехорошо.

Я родился в приличной семье. Вообще это значит, что отец не пропивает получек и не приводит домой посторонних женщин, а от матери не услышишь черного слова. Но наша фамилия еще отличалась тем, что у меня были домашние учителя, что каждое лето мы снимали дачу по Ярославской дороге и что моей сестре прочили

артистическую карьеру. Из-за этого я прежде много о себе понимал и так полагал, что либо я сделаюсь выдающимся человеком, либо я не знаю, что я с собой сделаю...

Когда мне было пятнадцать лет и я уже начал соображать, я бросил девятый класс и поступил на завод, где делали электрические счетчики и пылесосы. С той поры я живу один.

На заводе я проработал полтора года. В начале зимы, когда еще с вечера я начинал думать о том, как утром буду мучительно просыпаться, как потом выйду в холодную, темную улицу, как буду тащиться в сонном трамвае и, наконец, восемь часов подряд мазать специальным раствором черные кнопочки, от которых рябит в глазах, я — прямо скажу — не выдержал характера и уволился по собственному желанию.

Некоторое время я бил баклуши. Потом я работал слесарем на заводе, который назывался механическим, хотя на нем делали консервные банки, потом устроился полотером и месяца два ходил с лимонным лицом по милости какой-то особенной, несмывающейся мастики, потом я работал на ипподроме, — короче говоря, где только не носил меня черт и чего я только не делал.

Сейчас я работаю дворником. Мой участок простирается от парикмахерской до дома № 24 по С-кому переулку. Зарабатываю я шестьдесят два рубля пятьдесят копеек. Другому этих денег, надо полагать, не хватит даже на карманные расходы, но мне в самый раз. Во-первых, я не привередничаю и ем что попало, во-вторых, я плачу за жилье около семидесяти копеек, в-третьих, я замкнутый человек. Последнее означает, что самые жестокие траты, которые у людей так или иначе связаны со знакомствами и вождением всевозможных компаний, у меня отсутствуют вообще. Я ни с кем не вожусь; родители меня на дух не переносят, новых друзей у меня как-то не завелось, а со старыми я раздружился.

Если и есть такие люди, с которыми я в приятельских отношениях, то это двое дворников, соседей по участку в С-ком переулке, и техник-смотритель Озорников. Мне нравятся эти люди, и я даже скучаю, если мы долго не видимся. Я затрудняюсь объяснить причину этой привязанности, ибо все их достоинства заключаются только в том, что в них нет одного недостатка, который есть во всех, кого я знал или не знаю, а именно: им не интересно, кто из нас четырех умней. Наконец, в них просто много забавного. Например, один любит рассказывать анекдоты. Они нелепы и несмешны, но занимательны тем, что все начинаются одинаково.

— Значит, старый профессор женился на одной невесте...— говорит мой приятель, кладя руки к себе на колени и делая такое лицо, как будто собирается рассказать нечто необычайно веселое.

Другой мой товарищ носит фамилию Шуйский и говорит «мы Шуйские», что замечательно уже само по себе, а техник-смотритель Озорников то и дело поражает меня неожиданными сентенциями. Скажем, третьего дня шел дождь, и я пожаловался на погоду. Озорников посмотрел в окно и проговорил:

— Погода что мать родная. Какая есть, такая и слава богу.

Ну, как не полюбить человека, который может сказать такую чу́дную вещь?

Однако все то, о чем толковалось выше, представляет собой, так сказать, внешнюю сторону моей жизни,— другая, которая скрыта от постороннего глаза и которая, собственно, и есть моя жизнь, это запойное чтение книг. Читать я научился необыкновенно рано, года в четыре, и с той поры серьезно занимаюсь только чтением книг. Из книг я предпочитаю жизнеописания великих людей.

Когда я усаживаюсь за чтение, то прежде всего совершаю целый подготовительный церемониал: я занавешиваю окно, чтобы в комнате было сумеречно, зажигаю

настольную лампу, ставлю возле себя трехлитровую банку подслащенной воды и долго устраиваюсь в кресле, которое подобрал на помойке в прошлом году.

Устроившись в кресле, я тяжело вздыхаю и начинаю читать. Тут со мной приключается чудесная перемена: я приятно совею, мое нутро собирает в чуткий комок, от которого по всему телу распространяются волны, волны, и в первую же минуту я настолько отрешаюсь от того, что меня окружает, что, произойди тогда что-нибудь постороннее, скажем, скрипни сама собой половица, я могу потерять сознание. То есть в первую минуту чтения я не испытываю ничего, кроме блаженства, но во вторую минуту мне почему-то начинает казаться, что я эту книгу уже читал, хотя я знаю наверняка, что я ее не читал. Потом мне начинает казаться, что эта книга написана вовсе не автором, означенным на обложке, а, как это ни удивительно, мной. Возможно, это происходит из-за того, что я переживаю книжные перипетии даже острее и натуральней, чем сочинитель, и если говорят, что Флобер чувствовал вкус мышьяка, когда отравлял свою мадам Бовари, то мне при чтении этого эпизода казалось, что я умираю. О всяческих ужасах уже нечего говорить. Представьте себе тихую зимнюю ночь, себя самого в пустой и едва освещенной комнате, зловещее гудение в дымоходе и чувство исключительного одиночества. Представьте теперь, что кто-то кашлянул у вас за спиной, и вы поймете, что происходит со мной, когда я читаю, допустим, о приходе Родиона Раскольникова к старухе. То есть чтение доставляет мне не просто удовольствие, а мучительное удовольствие, на манер того, которое доставляет безответная любовь, но как всякий законченный любовник, у которого даже от тени возлюбленной кружится голова, я пью свою чашу, несмотря ни на какие обстоятельства и последствия. Говоря о последствиях, я имею в виду, например, несуразные сновидения, которые вечно мне досаждают. Скажем, нынешней ночью

мне снилось, как будто я поймал громадную рыбу. Эта рыба просила, чтобы я ее отпустил на том основании, что она редкостный экземпляр.

Словом, чтение — это все, что есть у меня в жизни, и я горько жалею об отсутствии такой профессии, как читатель. Ведь посудите, до чего было бы хорошо, если бы человек целыми днями читал умные книги, а ему платили бы за это рублей пятьдесят — сущие пустяки по сравнению с выгодой обзавестись десятком-другим людей, которые прочитали все умные книги. Жаль, что покуда такой профессии не существует, читать приходится совершенно бесплатно. Досадно также, что, вместо того чтобы читать, я вынужден ежедневно прожигать три с половиной, а то и четыре часа жизни, которые уходят на уборку моего участка в С-ком переулке, но все же это гораздо лучше, чем полдня натирать полы или мазать специальным раствором черные кнопочки, гораздо лучше. Конечно, о зиме даже не хочется вспоминать, но летом всего и делов, что, бывало, сметешь окурки и прочую пакость на мостовую, соберешь все это метлою в кучу и в два-три приема отнесешь в помойный контейнер, — теперь, полагаю, ясно, что к помойным контейнерам я имею самое прямое, так сказать, рабочее отношение, и нет ничего зазорного в том, что любопытный пакет, о котором, собственно, речь, был обнаружен мной в таком скандалезном месте.

Первым делом я вытащил из пакета десятка два почтовых открыток. Судя по штемпелям, первая открытка была отправлена в 1913, а последняя в 1924 году. В течение двенадцати лет они приходили по неизменному адресу: Москва, Остоженка, 1-й Ильинский переулок, дом Бельцовой, квартира 4, каким-то Помехиным. Где они теперь, эти Помехины, и осталось ли от них что-нибудь, кроме открыток Всемирного почтового союза с изображением городского сада в Батуми, какой-то пары с пасхальными физиономиями, вида города Могилева и тому

подобными буржуазными глупостями. Может быть, давно уже все лежат на Ваганькове?.. бог их знает.

Надписи на открытках довольно забавного содержания: «Дорогая сестрица! Шлю тебе привет из прекрасной Флоренции. Завтра поеду в Рим. Думаю там прожить две недели. Кланяйся маме. Твой брат Александр». Или: «Христос воскрес, дорогая тетушка! Поздравляю Вас с праздником и желаю выиграть 50 тысяч. Ваш любящий племянник Александр». На открытке, помеченной восемнадцатым годом и изображающей бурное море с реющими альбатросами, которые кажутся подвешенными на веревочках, написано следующее: «Дорогая сестрица! Теперь мой адрес — город Смоленск, Революционный трибунал Западного фронта. Если будет время, то посмотри на рынке и купи такие две книги: М. Барабанов «Формулы обвинительных пунктов», 3 р. и В. Белецкий «Формулы обвинительных пунктов по уложению о наказаниях», 1 р. 85 коп. Впрочем, сколько теперь возьмут за них, не знаю. Брат Александр». Самая поздняя карточка, изображающая барчуков, которые играют в какую-то вымершую игру, кажется бельбоке, содержит такую надпись: «Дорогая тетушка! Поздравляю Вас с днем Вашего Ангела и желаю благополучия. Александр».

Но не почтовые карточки были главной моей находкой. На дне пакета я обнаружил пухленькую тетрадку, завернутую в номер «Московских ведомостей». На первой странице было написано крупными красивыми буквами: «П. Вещь. «Смехъ жизни». Романъ въ двухъ частяхъ». Я прочитал это и онемел. Находка поразила меня. Я безо всяких церемоний бросился к креслу и в какие-нибудь четыре часа прочитал тетрадь от корки до корки.

Роман оказался никуда не годным. Начинался он так:

« — Послушайте, с кем это вы сидите? — был первый

вопрос, с которым обратилась княжна Ксения Воргольская, едва только Цесси переступил порог ее ложи.

Раньше чем ответить, молодой человек поздоровался со всеми, бывшими в ложе, и тогда уже обратился к Ксении — будем называть ее так, как звали все в семье.

— А что это вас так интересует? — вместо ответа спросил он ее.

— Да мне это очень интересно, — возразила та, — кто это?».

Далее на протяжении целой главы они продолжают возражать и не отвечать на вопросы, так что в конце концов совершенно запутываются. Сначала я даже подозревал, что оба окажутся переодетой прислугой, судя по тому, что княжна не имеет обыкновения здороваться, а человек с кошачьим именем Цесси сначала здоровается с половиной театра и только затем обращает внимание на княжну. Но главное — им решительно не о чем говорить. Я читал и живо себе представлял, как этот П. Вещь мучительно придумывает, чего бы еще потуманней сказать княжне, кусает перо и тяжелыми глазами выглядывает на улицу. Честное слово, я бы на его месте и правда объявил обоих прислугой, такое превращение, во всяком случае, выглядело бы забавно, но вместо этого вскоре появляется «стройный брюнет» Василий Шагорский, приват-доцент Московского университета, что опять-таки невозможно, поскольку на вопрос княжны: «Вы ученый?» — этот тип отвечает: «О, да, и очень». Кроме того, на следующей странице он говорит слова, я полагаю, неслыханные в ученом мире. «Но, боже мой, — говорит Шагорский, — неужели вы думаете, что я всецело отдался науке? Это мне доставляет известное занятие, да, но жизни моей отнюдь не наполняет». Далее княжна Воргольская ни к селу ни к городу попадает под автомобиль. Это тем более нелепо, что в описываемые времена попасть под автомобиль было так же сложно, как теперь угодить под лошадь. И тем не менее

роман меня взволновал. Я долго не мог понять, что именно меня взволновало, пока не сообразил, что роман написан рукой того самого Александра, который слал Помехиным почтовые карточки. «Так вот в чем дело!» — сказал я себе и стал думать о том, что побудило этого тихого и, вероятно, беспутного человека, который должен был носить толстовку с коротким галстуком и галоши, исписать нелепостями целую пухленькую тетрадку? Чем объяснить то обстоятельство, что какие-то люди полвека хранили никому не нужную рукопись где-нибудь в сундуке и зачем тогда выбросили в помойный контейнер на неминуемую погибель? Наконец, какой неизвестный закон природы привел ее в мои руки и куда она проследует дальше, если я ее из озорства не отнесу в туалет? Но главное — что побудило этого человека исписать нелепостями целую пухленькую тетрадку? Этого я никак не мог взять в толк. Я неподвижно просидел в своем кресле до поздних сумерек, а мысли мои путались, разбегались и, в конце концов, оказались так далеко, что я уже думал о том, что если о жизни и можно сказать что-то определенное, так это то, что она проходит. Проходит, проходит, потом и вовсе пройдет, и не останется от тебя ничего, ни синь пороху. И тут мне явилось вот какое окаянное соображение... Как ни совестно сознаваться, но я подумал, что меня самого мучительно подмывает написать что-то такое, чему можно было бы дать многозначительное название и подзаголовок — роман в двух частях.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Заведующий литературной частью одного из московских театров Сергей Сергеевич Астраханский опоздал к началу сезона. Вместо положенных двадцати четырех су-

ток он нагулял целый месяц и ожидал нагоняя. В театр он явился в тяжелый день, в день профсоюзного собрания, которое, по традиции, следовало ровно через неделю после первого сбора труппы. Он и его хотел прогулять, но побоялся.

Ну, эти профсоюзные собрания! Раз в год под театральными сводами сотрясаются такие скандалы, такие затеиваются склоки и распатронивания в пух и прах, что потом долго-долго припоминаются и очень оживляют театральную жизнь. Все начиналось обязательно с чепухи, с какого-нибудь безобидного замечания, вроде того что молодых актеров следовало бы во всех отношениях догрузить. Тогда поднимался кто-то из молодых и начинал наводить нелицеприятную критику, не щадя ни правых, ни виноватых, ни руководство, ни мелкую театральную сошку — словом, разгорался сыр-бор. На этих собраниях только что не дрались, а так доходило до обмороков, до угроз, до несмываемых оскорблений, что, впрочем, представляется законным среди людей, которые работают с исключительными страстями. На все это бывало страшно смотреть. Даже амуры, которыми были расписаны потолки, кажется, изменялись в лице, кажется, у них появлялось испуганное, вытянутое выражение, вообще очень свойственное маленьким детям, когда в их присутствии ссорятся взрослые.

Надо сказать, что это был пятьдесят третий сезон и, стало быть, несчастливый, так как, по старой местной традиции отличать счастливые сезоны от несчастливых, он не делился на три. Следовало ждать особенных, каких-нибудь диковинных неприятностей, и оттого Сергей Сергеевич Астраханский явился в театр с тяжелым выражением на лице, которое намекало на внутреннюю деятельность, вызванную либо несчастьем, либо какой-то тайной. Впрочем, это был неудачный ход, поскольку всякий в театре знал, что Астраханский брюзга и достаточно наступить ему на ботинок, чтобы сделать его не-

счастным и повергнуть в то душевное состояние, когда хочется все на свете не одобрять.

На этот раз склока произошла вот по какому поводу: для премьеры не было театральных костюмов.

— Если хорошо отыграем премьеру, то отдел культуры обещается выделить необходимые средства, — сказал директор театра, бывший актер, сказал и смешался.

С этого все началось.

— Вы соображаете, что вы говорите?! — закричал заведующий постановочной частью.

— Он сумасшедший, его надо изолировать! — подхватил актер Алексей Попович, а одно новое дарование, недавно наделавшее много шуму, принялось истерически хохотать, сохраняя на лице несмеющееся, грустное выражение. В общем, галдели около получаса, и, когда дело уже дошло до угроз, когда к директорскому сердцу подкрался обморок, все вдруг смолкло. Это вышло както настораживающе, как бывает, если небо обложат тучи, подует ветер, в воздухе появится что-то гнетущее, предвещающее беду — и вдруг все стихнет. Стало скучно, нехорошо. И тут Астраханский, что называется — на свою голову, вставил слово. Он сказал:

— В конце концов, костюм — это не главный ингридиент...

— А-а! Товарищ Астраханский! — воскликнул директор театра, как бы ликуя. — Вспомнили нас, зашли, как говорится, на огонек... — Но вдруг он побледнел и сказал тихо-тихо: — Соблаговолите объяснить коллективу мотивы вашего безответственного поведения...

Вообще народ в этом театре был из интеллигентных семей и выражался витиевато.

Астраханский встал и подошел к столу, накрытому старой кулисой, за которым сидели члены местного комитета. Он оперся о край стола, выпрямился и замолчал. Он молчал две минуты, что было замечено по часам, и за это время его глаза успели выразить много раз-

личных чувств: тут был некоторый испуг, томление, нерешительность, но потом в них мелькнула искра, и они как-то окаменели. Тогда Астраханский заговорил. Перед видавшим всякие виды актерским людом вдруг стала разворачиваться такая удивительная, неслыханная история, в какую нормальный человек не поверит ни за какие благополучия, разве что присягнешь ему на здоровье близких. Понятное дело, все были ошеломлены, даже у амуров на потолке появились тонкие, слушающие выражения.

Значилось в той байке, что отпуск Астраханский провел в деревне Уклейка. Это в Тамбовской области, известной девственными лесами, антоновским мятежом и теми самыми серыми обитателями, о которых в пятидесятых годах так любили упоминать следователи и милиционеры. В последний день отпуска Астраханский отправился по грибы.

День был чудесный. Знаете, в августе бывают такие дни, не прохладные и не жаркие, не солнечные и не пасмурные, а какие-то черт их знает какие, какие-то такие, от которых ожидаешь чего-нибудь необыкновенного, вроде второго пришествия.

Около часа он ехал на грузовике, который завез его на дальнюю засеку, — тут начинался дремучий лес. В лесу было сумеречно и тихо. Все задумалось, размечталось, и даже насекомая дрянь не осмеливалась нарушить лесной меланхолии, так что Астраханский был положительно околдован. На него напало умильное чувство, от которого тянет петь; Астраханский запел, но испугался своего голоса. Он долго шел, совершенно позабыв о грибах и заботясь только о том, чтобы ненароком не расплескать это прелестное чувство. И вдруг он подумал, что заблудился. Он остановился, осмотрелся по сторонам и увидел много такого, что укрепило его подозрение. Насколько хватало глаз, кругом расстилался мох, который хлюпал, сочился жижей и источал какой-то изысканный,

доисторический аромат. Деревья, редко торчавшие изо мха, производили трупное впечатление, небо казалось низким, как будто повисло на еловых верхушках, как на шестах; вообще картина поражала мертвенностью и тоской.

Оглядевшись, Астраханский приблизительно определил обратное направление и пошел назад, но, сколько времени он ни шел, лес не открывал ему выхода, и хотя до настоящего страха было еще далеко, но на душе легла тень. Уже к вечеру, когда стало смеркаться и в лесу сделалось так темно, что на него напало ощущение слепоты, он выбился из последних сил, сел на мох и заплакал. (В этом месте Астраханский примолк и развел руками, дескать, что уж тут лицемерить, бывает, что и всплакнешь.)

Итак, он сел на мох и заплакал. Он явно увидел будущее, которого насчитал максимум десять суток. Дней пять он еще будет идти, потом поползет, и, когда его совершенно оставят силы, он устроится возле брусники и будет ждать смерти от истощения. Вскоре придет сонливость, перед внутренним взором побежит его жизнь, потом опустится темнота, и примерно на десятые сутки он будет мертв. Тогда к месту действия пришлепает обитатель...

Астраханскому так картинно увиделось его тело, пожираемое обитателем, что он перестал плакать. Он вперился в темноту и долго сидел, изредка всхлипывая и вздыхая. Потом он заснул и спал тем неприятным сном, о котором не скажешь точно: спишь ты или не спишь. Ему снился волк в швейцарской фуражке. Волк поднимал фуражку за козырек и говорил голосом главного режиссера: «Это абсурд. При данном состоянии репертуара ни один дурак не даст вам высшую ставку».

(При этих словах Сергей Сергеевич Астраханский скосил глаза на главного режиссера. Главный режиссер кашлянул и ненавидяще на него посмотрел.)

Под утро стал накрапывать дождь. Он проснулся от нескольких капель, которые попали за воротник, вспомнил свою беду и чуть было снова не прослезился, но тут он увидел, что находится вовсе не в дебрях леса, как полагал, а в светлой кленовой роще, на самой ее опушке, которая выходила в маленькую долину. Эту долину пересекала река, поросшая камышами, и на ее берегу, километрах в двух, стояла деревня приблизительно в полсотни дворов. Хотя это была не Уклейка, он очень обрадовался человеческому жилью, которого он уже не чаял увидеть. Он встал и, поеживаясь от промокшего пиджачка, пошел, держа направление на деревню. Все, что он увидел в дальнейшем и что с ним случилось, представляет собой такие поразительные обстоятельства, что, по признанию самого Астраханского, первое время он не мог быть совсем уверен, что это был не кошмарный сон или не временное помешательство.

Деревня, в которую он вскоре вступил, удивила его невиданной бедностью. Избы, более похожие на землянки, все были ветхие, кособокие, крыты соломой, и казалось, что они гниют и рассыпаются на глазах. Возле четвертой избы ему попался голый ребенок, сидевший в луже и бивший по ней ладошками, потом ему встретилась женщина, закутанная в тряпье; увидев его, она вскрикнула и исчезла.

Астраханскому стало не по себе, впрочем, в ту же минуту, как ему стало не по себе, случилось событие, окончательно сбившее его с толку: он был схвачен и заключен под замок.

— Все-таки есть справедливость на белом свете! — крикнул с места актер Алексей Попович, и по рядам пробежал порыв смешков и язвительных восклицаний.

Сергей Сергеевич пропустил эту колкость мимо ушей. Он продолжал...

Его заключили в большой сарай. Не успел он призадуматься над тем, что, собственно, произошло и что ожи-

дает его впереди, то есть к чему вообще отнести случившееся, как его посетили два мужика, которые уселись на табуреты и принялись молча его разглядывать и часто переглядываться между собой. Спустя некоторое время они стали задавать вопросы. Они интересовались неожиданными вещами: золотым содержанием десятирублевого банковского билета, ценами на пшеницу, состоянием нравственности, ходом коллективизации, они также спрашивали, жив ли Шаляпин и какова численность Красной Армии. Касательно численности Красной Армии Астраханский отвечать отказался.

Когда за отказ отвечать на этот вопрос не последовало никаких осложнений, Астраханский набрался духу и спросил сам:

— Товарищи, вы можете объяснить, что здесь происходит?

На лицах у посетителей вдруг появились одинаковые конфиденциальные выражения. Они покашляли в кулаки и всё выложили начистоту.

Вот суть дела. В двадцать первом году после разгрома кулацкой армии атамана Антонова несколько десятков повстанцев, которые не откликнулись на амнистию, ушли со своими семьями и скотиной в глухие леса. Вероятно, со временем их колония как-нибудь да распалась, если бы вскоре к ним не забрел один полоумный старец. Он пришел и провозгласил конец света. По его словам, человечество поразил поголовный мор и планета пришла в полное запустение, что в свете событий последних лет казалось заслуживающим доверия. В доказательство своих слов полоумный старец скончался, и население лесной колонии укоренилось в мысли, что они единственные и последние люди на всей земле и, таким образом, на них свалилась ответственность за сохранение жизни и всевозможных общественных форм, как это уже было однажды в потопные времена. Деревню назвали Новый Ковчег. Избрали царя, положив начало чет-

вертой русской династии; царем был избран бывший председатель комбеда Прохор Иванович Толкунов, который взошел на престол под именем Прохора I. Царь назначил правительство, учредил полицию и издал десять законов. Сначала все шло хорошо, государственно, но потом, уже при сыне Прохора I, Иване Прохоровиче, в Новый Ковчег забрел еще один человек, как выяснилось, уголовник, бывший в бегах, и на допросах такого порассказал, что все схватились за головы. Во избежание слухов и подозрений уголовнику назначили смерть, и, когда казнь была потихоньку приведена в исполнение, на теле казненного нашли страшное доказательство его правды, а именно: изображение танка «Т-34», татуированное на груди.

— Вас бог послал, честное слово! — заключил рассказ один из мужиков, посетивших Сергея Сергеевича Астраханского, чем крайне его удивил. — Понимаете, какое дело — народ невозможно разбаловался. Потом, эти... большие... над головами летают. Уже мы им и то и се — сомневаются...

— Не понимаю, чем же я могу быть полезен? — сказал Астраханский и натянуто улыбнулся.

— Очень можете быть полезны! — последовало в ответ. — Мы вас выдадим за архангела Гавриила...

И перед Астраханским во всех подробностях развернули план, поразивший его нелепостью и той простотой, которая при сказочном добродушии русского человека почти всегда обеспечивает успех. Коротко говоря, этот план заключался в том, что Астраханский должен будет выступить перед народом с одобрением монархии и деятельности правительства по поддержанию жизни и сохранению всевозможных общественных форм и, кроме того, как-нибудь между прочим, но со всей строгостью припугнет, де-ежели что не так, то и населению Нового Ковчега он может протрубить в свою страшную, окончательную трубу. Судный день назначили на субботу.

Двое суток Астраханский безвылазно просидел в сарае, в котором был заключен, и развлекал себя тем, что смотрел на волю сквозь щель.

— Можно сказать, насмотрелся я, товарищи, на капитализм с пережитком абсолютной монархии, — рассказывал он профсоюзному собранию и грустно покачивал головой, — это слов нет, чтобы дать ему исчерпывающую характеристику. Все пороки эксплуататорского общества, так сказать, в законсервированном виде предстали передо мной во всей своей омерзительной наготе. Народ доведен до крайней степени нравственного падения, кажется, только и делает, что ворует, матерщинничает и дерется. А какие жлобы, товарищи, какие крохоборы — это просто какие-то иностранцы, честное слово! Я потом целую неделю сигарету стеснялся стрельнуть, вот до чего они меня довели!

Ну ладно, пришла суббота. Действительно, на площадь нагнали народу, тут и правительство, и два моих мужика — словом, вся их сволочь. Выводят меня. Представьте: я являюсь босой, в балахоне, волосы на прямой пробор. Все на меня глядят, и я чувствую по глазам, что верят. «Ну козлы, ну козлы! — думаю про себя. — Ничего, сейчас я вам раскрою глаза на международную обстановку. На плаху пойду, а свой, так сказать, исторический долг исполню».

Наступает мертвая тишина. Я выдерживаю паузу, поднимаю руку и говорю:

«Товарищи! — говорю. — Хотите верьте, хотите нет, а в каких-нибудь ста километрах отсюда идет нормальная светлая жизнь. Успешно решается жилищный вопрос, от Москвы до Владивостока можно долететь за восемь часов, атом становится на службу человеку, одним словом, народ добивается, чтобы жизнь в нашей стране была еще краше. Хотя, честно скажу, глядя на вас, кажется, что краше некуда. Хотите верьте, хотите нет, а у вас царь так не одевается, как мы одеваемся, «гавану»

курим и за честь не считаем, старики пенсию получают, вежливые все, как швейцары; я уже не говорю о всеобщем среднем образовании... А что на сегодняшний день имеете вы? Частную собственность, эксплуатацию человеческого труда, то есть форменный сумасшедший дом! Спрашивается: где ваше чувство собственного достоинства и почему вы терпите этих дураков? В шею их, товарищи, долой угнетателей трудового народа!..»

Дойдя до этого места, Астраханский поперхнулся и замолчал. Стало так тихо, что было слышно, как рассыхается мебель. Директор театра проглотил слюну и сказал:

— Дальше-то что?

— А что дальше, — рассеянно сказал Астраханский, — дальше, разумеется, революция...

Новое дарование снова разразилось истерическим смехом, но на него так посмотрели, что оно спохватилось и замолчало.

— Самая натуральная революция, — продолжал Астраханский, — царь и правительство получили по шапке, их потом в милицию сдали. В настоящий отрезок времени организуется колхоз, называется «Новый Ковчег».

Минут через пять, когда собрание успокоилось и все стали понемногу приходить в себя, искоса поглядывая на Астраханского, перешли к следующему вопросу: новое дарование вступало во Всероссийское театральное общество и нуждалось в рекомендации.

— Не знаю, не знаю... — сказал Астраханский, — если вы помните, коллега в прошлом сезоне не явился на самую ответственную премьеру.

— У меня была уважительная причина! — воскликнуло новое дарование и повторило прошлогодний рассказ о том, как накануне премьеры в подъезд его дома каким-то образом зашел лось и не было никакой возможности выйти, чтобы попасть в театр.

Астраханский слушал, иногда пожимал плечами, а

потом демонстративно покинул зал и пошел в буфет. В буфете он пил портвейн, который специально для него держали в несгораемом шкафу вместе с выручкой и важными бланками; он куксился и говорил буфетчице, толстой даме:

— Умирает театр, агонизирует. Драматургии нет, режиссеров нет, средства не отпускаются. Вот скажите: по собственной воле вы пойдете на наш спектакль?

Буфетчица отрицательно помотала головой.

— И я не пойду!..

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФЛЕЙТЫ

Когда моя дочь подросла и вот-вот должна была пойти в школу, жена выписала из Семипалатинска свою мать, чтобы нашей девочке был уход. Тещу я не любил: внешностью и повадками она напоминает какого-то второстепенного хищника вроде росомахи или американской вонючки, — словом, я ее не любил. Впрочем, нелюбовь этого рода в порядке вещей, и специально о ней не стоит распространяться.

Увеличение семьи на одну персону поставило нас перед необходимостью каким-то образом расширить жилую площадь. Моя жена, большая в этом смысле пройдоха, сочинила хитроумную комбинацию: мы разводимся, через некоторое время мне дают комнату, после чего мы опять сочетаемся браком и обмениваем комнату и двухкомнатную квартиру на трехкомнатную квартиру, — просто, как выпить по сто, если выражаться словами дочери, которая бог знает где набирается этих слов.

Так мы и сделали. После того как я развелся с женой, то для пущей правдоподобности я некоторое время ночевал по знакомым, преимущественно у мужиков из нашей скрипичной группы. На репетиции я являлся заспанным и небритым, на концерты — в помятом фра-

ке и в конце концов разжалобил администрацию: они ходатайствовали, и мне дали комнату. Я въехал, и со мной что-то произошло.

Понятное дело, что в зрелые годы такой перелом не может пройти бесследно, но я долго не мог понять, что именно со мною произошло. Я часами обхаживал свою комнату, чувствуя легкое головокружение, временами мне в нос ударял старинный, полузабытый запах, с которым было связано что-то очень, очень приятное, и думал о том, что же такое произошло. Но ничего не придумал. Более или менее вразумительно я мог бы обрисовать только новое чувственное состояние. Чувство такое, как если бы организм внезапно очистился от дурноты, как если бы вы посвежели, как-то возобновились, что обычно наваливается на человека, когда он оправляется после долгой-долгой болезни. Видимо, это меня до такой степени преобразил обособленный образ жизни, который имеет несколько освободительных преимуществ: во-первых, он освобождает от худшей разновидности эгоизма, семейного эгоизма, то есть эгоизма, помноженного на число ваших ближайших родственников, во-вторых, от крохоборства, в-третьих, от необходимости сопереживать чужим мигреням и, в-четвертых, от того трудно передаваемого чувства, которое должно бы быть у породистых голубей, которым для привечания к дому выдергивают из крыльев специальные перышки. Преимущество нового положения показалось мне настолько значительным, что я ходил по комнате, держась за голову, и говорил: «Как это ты, дурак, раньше не спохватился? Ведь сколько лет жизни, можно сказать, псу под хвост!»

— Но вы не будете отрицать, что и семейная жизнь имеет свои неоспоримые преимущества? — сказала моя новая соседка Елена Ивановна Кочубей, с которой мы давеча затеяли спор на матримониальные темы, — мы с ней уже раза два болтали на кухне о том о сем.—Потом, если громадное большинство людей имеет семьи, значит,

для чего-нибудь стоит. Наконец, продолжение рода? Хорошенькое дело, если мужчины перестанут жениться и возьмут курс на... — тут она запнулась, подыскивая оборот, — на расплождение безотцовщины.

— Этого я ничего не знаю, — ответил я. — Я знаю только то, что человеку лучше жить одному. Как говорил Лютер: на том стою и не могу иначе.

Кстати, о соседях. Или нет, о соседях рано, надо все по порядку.

Мне дали комнату в огромном старинном доме, построенном в 1897 году. Этот дом располагается, на мой взгляд, в самой уютной части Москвы, между Суворовским бульваром и улицей Герцена.

Сама по себе квартира не привлекательна, в старинных кварталах они все одинаковы: сумрачный коридор длины и высоты по теперешним временам необыкновенной, две-три лампочки, как будто нехотя рассеивающие мглу, сундук, древнее кресло у телефона, велосипед, подвешенный к потолку и постепенно теряющий свои очертания... а также много другой пылящейся чепухи. Пахнет сложно: чем-то нечеловеческим, должно быть кошками.

Но зато комната!.. Прелесть комната, или спецкомната, как бы сказал один мой приятель, известный актер, почему я и опускаю его фамилию; у этого все из ряда вон выходящее приобретает приставку «спец», и таким образом получаются спецкомнаты, спецпортвейны и спецчеловеки. Моя комната головокружительной высоты, так что в сумеречное время потолок даже кажется подернутым перистыми облаками. Потолок лепной, карнизы тоже лепные, стены покрашены желтой краской, пол паркетный. Полезной площади двадцать четыре метра. («Полезной» я говорю потому, что так говорит человек из жэка, который меня вселял, к бесполезной, вероятно, относятся стены и потолок.) Из обстановки у меня в настоящее время имеется шкаф, такой тяжелый и ветхий, что прежний жилец, вероятно, не решился его по-

тревожить, обеденный стол, два стула и изумительная кровать, покрашенная под слоновую кость, с золотыми лепными фигурками и ободами, — моя мечта завести для нее балдахин. Все это расставлено по углам и уютнейшим образом очерчивает пространство.

Теперь об одном странном свойстве этого помещения. Я уже говорил, что как только я въехал в новую комнату, со мною начали совершаться разные малопонятные вещи. У меня появилась привычка просыпаться среди ночи, внезапно стали ни с того ни с сего останавливаться часы, а в меланхолические минуты мне явственно слышались голоса, отдаленная музыка, перешептывание и другая «шотландия». Но это еще ничего, несмотря на сплошные капитальные стены и не менее капитальные перекрытия, эти звуки могли ко мне долетать от соседей, но мне несколько раз слышался плач младенца!.. Младенцев не только у нас в квартире, в нашем подъезде не было ни души.

Как раз в это время мне в руки попались новые мемуары Катаева, в которых он описывает свою комнату в Мыльниковом переулке, где перебывали многие знаменитости. Это обстоятельство натолкнуло меня вот на какую мысль: а что, если великие люди имеют обыкновение оставлять в тех помещениях, где они побывали, какое-то дуновение своего исключительного существа, этакие флюиды, которые могут влиять на чувства простых людей? А что, если в моей комнате прежде жил какой-нибудь баламут вроде Хлебникова и я под действием его дурацких флюидов постепенно схожу с ума?.. Я немедленно справился у соседей, кто такой жил в моей комнате до меня, но мне сказали, что жила старушка Ольга Петровна, которая отличалась только религиозностью. Тогда я подумал, что это обособленный образ жизни открывает мне свежий чувственный горизонт.

Через некоторое время жена попыталась мне все испортить. Она оборвала телефон — я отказался разгова-

ривать, она два раза поджидала меня у филармонии — я скрывался, наконец, она прислала письмо: «Ты избегаешь меня, что у тебя на уме? Я не понимаю твоего поведения».

— Что уж тут понимать, — сказал я себе, прочитав письмо, — нечего понимать...

И все-таки у меня в душе зашевелился сомнительный червячок.

Теперь о соседях. Соседей в нашей квартире было чрезвычайно много, и, должно быть, потребуется некоторое время, прежде чем я каждого буду знать хотя бы в лицо. Сначала я познакомился только с двумя из ближайшего соседского окружения: слева от меня жила славная женщина Елена Ивановна Кочубей, с которой мы разговариваем, а справа — пожилой человек Николай Васильевич Алегуков. Впоследствии я познакомился и с другими гражданами нашей квартиры и глубоко благодарен своей судьбе за то, что она свела меня с такими занимательными людьми.

По очереди о первых моих знакомых.

Елена Ивановна Кочубей — женщина лет тридцати пяти. Она высока ростом и сложена таким образом, что дух захватывает. Лицо у нее печальной, задумчивой красоты, глаза подернуты дымкой, на манер запотевших стекол, под глазами голубизна. Общее впечатление таково: думаешь, что вот сейчас она скажет: «За что вы меня все не любите?» Надо полагать, что именно такая женщина подбила Евгения Евтушенко сочинить мудрые строки, смысл которых заключается в том, что если бог есть, то этот бог — женщина, а не мужчина.

Красота Елены Ивановны так меня поразила, что у меня до сих пор не поворачивается язык называть ее Леной, хотя она проста в обращении и мы с ней годки. Но это даже хорошо, что не поворачивается язык, вообще недавно мне пришло в голову, что мы лишаем себя значительного удовольствия, избегая поклонов, снимания

шапок и обращения по имени-отчеству — удивительного дара нашего языка. Одна моя знакомая англичанка, с которой я, правда, был очень давно знаком, говорила, что своей человечностью русские обязаны именно существованию отчеств, поскольку к обидчику и врагу можно обратится не со словами «гражданин Иванов», а со словами «Иван Иваныч».

Нужно оговориться, что я приврал, будто бы красота Елены Ивановны поразила меня как таковая. Нынче я склонен думать, что ни в женщине, ни в мужчине собственно красота, то есть правильное сочетание правильных черт лица плюс специальное выражение, не способна внушить серьезного чувства, разве что такая красота вызовет в вас сочувствие понятию «красота». Ничего не скажу о женщинах, а нашего брата обыкновенно чарует что-то другое, что-то не поддающееся определению, что-то воздушное, как предчувствие. Это может быть следствием манеры как-нибудь особенно щурить глаза или употребления каких-нибудь милых слов — разные есть причины. Что же касается Елены Ивановны, то мое восхищение этой женщиной в первую очередь объясняется тем, что она когда-то снималась в кино, а в дальнейшем ее кинематографическая карьера сложилась неблагополучно. Она мне все про себя рассказала. Я слушал ее рассказ и ужасался подробностям.

— Моя первая и, увы, последняя работа в кино... Это было как влюбленность. Знаете, натуру снимали в Угличе, потом пошли все павильонные съемки. Мой режиссер был удивительный человек, таких мужчин встречают только раз в жизни. Как-то после съемок, до сих пор помню — в одиннадцатом павильоне, он меня... ну, вы понимаете, о чем я. И все это так, между делом, в каком-то пыльном закутке. Я в него влюбилась до потери чувствительности: девочка была, дура дурой. После того как картина вышла, меня целый год узнавали на улице, а потом перестали...

Дальнейшее я читал у Елены Ивановны на лице. Видимо, не дождавшись приглашения на следующую картину, она стала искать встречи со своим режиссером, тщетно обивала пороги актерских отделов, пробовалась в театры, но все впустую. Наверное, ей советовали чем-то заняться, куда-то поступить, чтобы ее молодость не пропала за понюх табаку, но она не принимала ничьих советов, ибо была устроена по примеру одного великого композитора, который говорил, что он может заниматься либо сочинением музыки, либо ничем. Уверен, что все эти годы она поддерживала себя идеей, будто сценический путь витиеват и тернист: Михаил Чехов был неудачник, Гоголя не приняли в Александринский театр, Жемчугова умерла от туберкулеза. Интересно только, на какие шиши она жила эти годы?

По вечерам, это бывало решительно каждый вечер, Елена Ивановна заводила проигрыватель и слушала «Песню Сольвейг» — любимую вещь своего первооткрывателя. Однажды, проходя мимо ее двери, я услышал, как она плачет. Это меня доконало. Внутри у меня вдруг что-то разорвалось, и из этого «что-то» по всему телу разлился непереносимый восторг. Я добрался до своей комнаты, лег на кровать и забылся. Через некоторое время в голове у меня посветлело, и я подумал, что, видимо, полюбил Елену Ивановну, и полюбил с такой силой, с какой я сроду никого не любил. Но странно: эта любовь показалась мне не похожей на то, что называют любовью к женщине, так как она была свободна от мании обладать; это было похоже именно на просветление, на то щемительное и необъяснимое чувство, какое можно испытывать, например, по отношению к родине. Но эта мысль только усугубила образовавшуюся во мне муку, и суток так трое я находился прямо-таки в болезненном состоянии: на меня нашла слезливость и какая-то странная повсеместная дрожь. На четвертые сутки мне стало ясно, что если я не предприму чего-то такого, что поло-

жит конец этому любовному истязательству, то я не знаю, что я с собой сделаю... Тогда в отсутствие Елены Ивановны я зашел в ее комнату — в нашей квартире комнаты не запираются — и украл четвертной.

Хотите верьте, хотите нет, а мне полегчало. Видимо, этот поступок подготовился во мне сам по себе, имея в виду милосердие к психическому организму. Спастись в данном случае можно было, наверное, только тем, чтобы сделать подлость, то есть нечто прямо противоположное волшебной деятельности души. Кстати, по той же логике спиваются гении: видимо, им страшно, что они гении.

Итак, я украл у Елены Ивановны четвертной, и мне полегчало. Наводнение прекратилось, мой восторг вошел в ровные берега, и на душе установилось долгожданное вёдро. Меня единственно угнетало, что я украл, но тут я навертел себе таких оговорок и оправданий, что вскоре даже позабыл о своем проступке: будто и не крал. На самом деле, что это пошла за мода такая: совеститься где не нужно? И главное, украсть деньги — не хорошо, а книгу украсть — это уже будет признак высшего воспитания! Далее: бросить семью — тоже не хорошо; а хорошо всю жизнь промучиться среди погубителей твоей жизни?! Если по-моему, то это ни в какие ворота не лезет. Все это пережитки феодальной раздробленности, когда от недостатка образования понятие, ну, положим, «честь» было таким же фактическим и весомым, как в наши времена понятие «заработная плата». Впрочем, это так, рассуждения, я к этому серьезно не отношусь. Я еще не успел основательно поразмыслить над тем, что меня занимает. Это для меня слишком ново.

Другой мой ближайший сосед — пожилой человек Николай Васильевич Алегуков. Он полноват, небольшого роста, у него удивительное лицо. Верхняя часть лица, то есть лоб и надбровные дуги, занимающие от целого не менее половины, — совершенно перпендикулярна, а ниж-

няя часть как-то устремлена вам навстречу. От этого складывается впечатление, что лицо Николая Васильевича состоит из двух самостоятельных половин, не подходящих друг к другу. Недоброжелательный наблюдатель может сказать, что у этого лица питекантропическое начало. Если вам на улице встретится человек с лицом, как бы увиденным в бракованном зеркале, то имейте в виду, что это Николай Васильевич Алегуков.

Одежда и нрав Николая Васильевича также состоят будто бы из двух половин. Дома он ходит в валенках, в полосатых пижамных брюках, но в пиджаке, надетом прямо на голое тело, и в феске с кисточкой. Феска старинная: фетровая, зеленая, пахнет от нее рахат-лукумом и жареными кофейными зернами. По квартире он ходит легко, почти вкрадчиво, при встрече кланяется, много улыбается, если ему срочно понадобится в туалет, что извинительно в его годы, он кокетливо постучит вам костяшкой и, когда бы будете освобождать туалетное помещение, поклонится и проговорит:

— Пардонирую.

Николай Васильевич давно на пенсии, но он чрезвычайно деловой человек. Ровно в восемь утра он занимает чулан, где стоит верстак и находятся его инструменты: он починяет телевизоры, утюги, музыкальные инструменты, игрушки, мебель — все это даром. В двенадцать часов он выходит из чулана и говорит, ни к кому отдельно не обращаясь:

— Перерыв на обед.

Через сорок минут он опять в чулане. Чулан запирается ровно без двадцати минут пять. При этом Николай Васильевич говорит:

— Будем уважать законы своей страны. Раз восьмичасовой, значит, пускай будет восьмичасовой.

Однако при этих достоинствах Николай Васильевич часто позволяет себе один странный поступок: разгуливая по квартире, он останавливается у дверей и пускает

матерной скороговоркой. Я сам мужчина и, если понадобится, всегда заверну меткое слово, но брань Николая Васильевича кажется мне безобразной. Она меня оскорбляет, и я даже чувствую, как мое лицо кривится в испуганную, беспомощную гримасу.

В последнее время он взял еще такую моду: он приходит ко мне, когда ему вздумается, и заводит невразумительные разговоры. Началось с того, что он пришел и рассказал, как Ома объявили умалишенным и выгнали из учителей. «И правильно сделали!» — добавил он и ушел. А сегодня утром он приплелся ко мне чуть свет, распространил своей феской восточный запах, сел на кровать и сказал:

— Знаете, что я вам хочу заметить? Я хочу заметить, что англичане народ невероятной амбиции. Представьте, местоимение «я» они пишут только с заглавной буквы.

—Это не от амбиции, а от особенностей грамматики, — наставительно сказал я, поскольку я разбираюсь в этом предмете. — Грамматика у них такая. Англичане пишут «Я» с большой буквы из-за того, что у них предложение всегда начинается с подлежащего. Это не то что у нас, хочешь — напишешь «солнце всходило», а хочешь — «всходило солнце».

Николай Васильевич кашлянул и ушел, но не прошло и полминуты, как он вернулся с клочком газеты.

— Так... — сказал он. — Однако в придаточных предложениях они тоже пишут «Я» с большой буквы. Вот взгляните... — и он протянул мне клочок газеты.

— Действительно... — сказал я и смутился.

— Стало быть, англичане народ невероятной амбиции! — почти закричал он. — Впрочем, я, кажется, вас отвлек. Пардонирую.

Он, кряхтя, поднялся с моей кровати и удалился, а я подумал о том, до чего же я стал забывчив. Английская грамматика — это понятно, но в последнее время я стал забывать природные, нашенские слова. Как-то я

промучился целый день, припоминая глагол «твердить», — именно что промучился, другого слова не подберешь. И не вспомнил до тех пор, покуда не услышал это слово на улице. Кстати, на какой улице я его слышал? Так: я ходил посмотреть продажную флейту, американскую флейту системы «Хайнес». О продажной флейте мне сказал гобой Матусевич, он говорил, что его сосед продает великолепную флейту. Матусевич живет у Патриарших прудов; ну конечно — это было на Малой Бронной! Впереди меня шли двое мужчин, и один сказал:

— При чем тут сметная стоимость? Я уже устал тебе твердить, что сметная стоимость здесь ни при чем...

Кажется, это было сказано неподалеку от парикмахерской, точно, что неподалеку от парикмахерской, я еще, помнится, удивился на свежеподстриженного человека, который вышел из парикмахерской и улыбнулся от неловкого чувства. Мне пришло в голову, что стрижка на короткое время подменивает человека, он делается иным. А впрочем, что стрижка? Они и без стрижки все сделались странными, прямо что ни человек — то загвоздка.

Это удивительно, но прежде, то есть до переезда на другую квартиру, мне не встречались такие странные люди. Прежде все мои братья и сестры по присутствию на земле казались мне чрезвычайно похожими друг на друга. Они одинаково думали, говорили, обнаруживали полное тождество в выражениях лиц, и я тосковал по индивидуальности, как беременные женщины тоскуют по соленому огурцу. Это затмение длилось, длилось, и вдруг что-то произошло: люди стали таинственны. Даже в тех, кого я знаю тысячу лет, приоткрылась неопознанность, они сделались притягательны и загадочны, как слово «трансцендентальное». Здесь я в первую голову намекаю на своих товарищей, которых у меня двое. Раньше это были просто отличные мужики, которым всегда можно было пожаловаться на несчастье, и вот оказа-

лось, что они еще и порядочные чудаки. Выяснилось это третьего дня, когда они зашли меня навестить. Они сидели, сидели, и вдруг один говорит:

— Я три года деньги копил, — да я вам рассказывал, — хотел поехать в Грецию по туристической путевке. Почему именно в Грецию, я сам не знаю...

— В первый раз слышу, — перебил я.

— Скорее всего, потому, что у нас в пятом классе историю вел директор, — мы его ненавидели и считали, что он все врет. Ну, накопил я деньги, ладно... Только я намылился покупать путевку, как замечаю: жена что ни вечер — так за полночь... Дело плохо. Я знаю только одно средство вернуть женщину, как говорится, в лоно — это ей новую шубу купить. Купил я шубу, думаю: черт с ней, с Грецией. И тут начинает меня досада точить. Почему-то тянет меня в эту треклятую Грецию — никакой жены не нужно. Такая досада меня одолела, что я взял и выкинул штуку одну. Только вы, братцы, того... молчок, а то скажут, что я полоумный. Купил я в цветочном магазине оливковое дерево и, как бы это выразиться... всячески над ним издеваюсь. Например, сижу и дымом его обкуриваю. На тебе! на тебе! за то, что я такой неудачливый человек.

— Это не оригинально, — сказал другой мой приятель. — Так же точно выдрючивался Октавиан Август, только не в отношении оливкового дерева, а в отношении мумии Александра Македонского. Так как ему было досадно, что последний был выдающийся полководец, он велел вскрыть гробницу и отломал у мумии нос.

«Откуда они этого набрались? — думал я, слушая разговор. — Ведь такие были пентюхи, сроду умного слова от них не слышал!»

Первое время я сильно удивлялся произошедшей во мне перемене, из-за которой я стал видеть людей в неожиданном ракурсе и с совершенно неожиданной стороны. Это удивление было вызвано тем, что, по моему

убеждению, видеть их таким образом было решительно невозможно, как невозможно видеть людей насквозь. Наверное, во мне должно было произойти что-то диковинное, из ряда вон выходящее, чтобы открыться такому видению, — словом, я очень удивился. Но потом я удивляться перестал, та́к как во мне произошла еще более удивительная перемена. Однажды утром я просыпаюсь, и первое, на что нападаю взглядом, был венский стул, один из двух моих венских стульев. Я его не узнал. Мне показалось, будто бы это не тот стул, к которому я привык, а какой-то другой, хотя безусловно мой. Что за притча? Потом я сообразил, что меня озадачило. Меня озадачила поразительная приспособленность стула под человека, особенно его спинка, которая имеет совершенно форму моей спины. Понятное дело, я сознавал, что мой стул — это продукция деятельности человека, и все-таки меня озадачивала способность предмета подделываться под хозяина, образуя этим сверхъестественную всеобщую связь одушевленного и неодушевленного. Главное, неодушевленная сторона внезапно приобрела в моих глазах новую, благородную значимость, и я почувствовал к ней ту разновидность уважительного чувства, которую люди испытывают к собакам: вроде бы просто собака, а там черт ее знает, может быть, ей такое известно, что никому не известно...

Я начал подозревать окружающие меня вещи. Мне стало казаться, что они затаились, но что им есть много чего сказать, и, глядя, допустим, на венский стул, я могу загадочным образом чувствовать, что ему хочется быть отодвинуту от окна, где немного дует, и быть подвинуту к человеку, который не крохоборничает и источает тепло. Видимо, я неловко объясняюсь, все, что толчется у меня в голове, куда содержательней и сложнее; будет понятно, если прибегнуть к помощи ощущения. Ощущение таково, как будто вот-вот откроется что-то великое и окончательное, будто бы в мозгу вот-вот вылупится некая

формула бытия, объясняющая все, что ни есть на свете, бесконечная в своей мудрости и простая как табуретка. К этому ощущению добавляется странный, полузабытый запах, с которым связано что-то очень, очень приятное.

Скажу заодно о запахах: они приобрели для меня особенное значение, верхнее чутье во мне открывается, что ли? Я, например, за несколько кварталов унюхиваю ассенизационный автомобиль, я различаю, что мой венский стул пахнет совсем не так, как кровать, а кровать не так, как платяной шкаф. Когда я возвращаюсь домой, я чую по запахам, кто из соседей дома. Люди пахнут поразительным образом: хорошие люди обязательно пахнут какой-нибудь дрянью, а именно — пóтом, металлической стружкой, смазочными маслами; плохие, напротив, источают сложные ароматы, причем я заметил, чем подлей человек, тем неуловимей и утонченнее его запах. Начальник нашей жилищно-эксплуатационной конторы, которого все не любят за неправильное произношение, издает едва различимый запах сандалового дерева. Елена Ивановна Кочубей пахнет пылью. Николай Васильевич Алегуков, как уже говорилось, пахнет восточно, и этот запах я различаю задолго до появления его носителя. Как-то сидел я в своей комнате и вдруг почувствовал этот запах. Действительно, минуту спустя в мою комнату заглядывает он сам-четверт. Он опустил подбородок на грудь, так что кисточка фески повисла над переносицей, и сказал:

— А знаете, атаман Платов был доктором Оксфордского университета!..

Я ничего не сказал в ответ. Николай Васильевич помолчал, пристально глядя в мои глаза, и исчез...

Нет, это не со мной «что-то» произошло, это с народом «что-то» произошло! Возьмем хотя бы такой случай: одна женщина в нашей квартире завела кур. Я хотел было спросить, зачем ей куры, но побоялся; я побоялся, что она мне скажет нечто ужасное, так как она их время от

времени режет на кухне. Я доподлинно знаю, что перед расправой она выпивает стакан валерьянки. Кроме того, эта женщина, — я вечно забываю ее по имени, — замечательна вокальными данными, главным образом тембром голоса. Наши хозяйки по нескольку раз на дню затевают на кухне пение, когда собираются за стряпней, — так эта женщина поет лучше всех. Пение, особенно женское пение, я люблю по-прежнему. Это, пожалуй, моя единственная прежняя привязанность, которой я не изменил.

Но вот о музыке вообще у меня в настоящее время складывается новое мнение. Мне стало казаться, что в гибели существующей музыки собственно музыки очень мало. Истинно музыкальных произведений, которые производят в вас переполох и еще то чувство, какое бывает, когда угодишь коленкой об острый угол и все вдруг покажется в странном свете, так мало, что я их мог бы по пальцам пересчитать, вот только не хочется сердить музыкальных специалистов. Все остальное — форменная симуляция, надувательство и единственно из-за того не изругано и не позабыто, что самое верное зеркало для людей все-таки сказка про голого короля. Когда я в концерте играю партию в какой-нибудь штуке, которую выдают за музыкальное произведение, мне так бывает неловко, как будто меня заставляют говорить глупости. Боюсь, что дальше я не смогу этого выносить и, как это ни прискорбно, работу придется бросить, а то получается не по совести.

Кстати, о совести, — с ней у меня также новые счеты. Нужно начать с того, что в прежние времена я так понимал о совести, что это суеверие, предрассудок. Иначе я и не мог ее понимать, поскольку за свою жизнь я сделал немало гадостей разной величины, а напоследок надул семью и украл у Елены Ивановны четвертак. Я рассеивался при помощи той укоренившейся отговорки, что вообще не подличать невозможно, и если это невозможно в целом, какая, в сущности, разница: подличать

вынужденно и эпизодически или как правило и по доброй воле. Скажем, Толстой был порядочный человек, но, будучи безбожником, он все же венчался в церкви, а отрицая государство, прибегал к посредству его институтов. Из этого, главным образом, вытекало, что можно подличать, и тем не менее оставаться порядочным человеком. Но потом меня осенило, что подличать не столько нехорошо, как ненужно, что человеку проще не подличать — это практичнее и удобней. Положим, я подличаю в нашем оркестре за определенную мзду — это невыгодно; выгоднее устроиться ночным сторожем и играть на флейте в свое удовольствие, выгоднее потому, что в оркестре я мученик и каждый концерт стоит мне года жизни, а в ночных сторожах всем только будет казаться, что я ночной сторож, на самом деле я буду человек, который играет на флейте. Что же касается некоторого убытка доходов и реноме, то я на него ноль внимания, поскольку я выигрываю в самом главном — в продолжительности своей жизни. Здесь, правда, нужно оговориться, что далеко не все то, что считается подлостью — подлость на самом деле; это недоразумение объясняется либо человеческой неорганизованностью, либо тем соображением, которое побудило профессора Крылова сказать во время купания в Ревеле, где вода показалась ему холодна: «Подлецы немцы!» Наконец, можно сделать такую гадость, от которой получится только прок, отчего из «гадости» ее следовало бы переименовать в «гражданский поступок».

Итак, меня осенило. Новорожденная идея показалась мне такой дельной, что внутри у меня посветлело, как будто там зажглись теплые лампочки. Я немедленно поделился этой идеей с Еленой Ивановной.

— Елена Ивановна! — сказал я, входя в ее комнату. — Третьего дня я украл у вас четвертак. Теперь я его возвращаю. Здесь — копейка в копейку.

Елена Ивановна прикрыла глаза и засмеялась.

— Кто же в таких вещах сознается? — сказала она, смеясь. — Вы сумасшедший...

— Видите ли, я хочу, чтобы между нами не было недоразумений. Так мне проще. Так вообще проще.

Я сел. Я сел и внезапно отвлекся: мне показалось, что когда-то давным-давно я так же сидел на стуле, напротив меня заливалась женщина, а за окошком моросил дождь. Я не знал, когда и где это было, я только знал, что это определенно было. Отвлекся я, впрочем, на самый короткий миг, потом я быстренько спохватился и продолжал:

— Видите ли, Елена Ивановна, существует такое понятие — совесть. Сначала я думал: совесть — это что-то вроде предисловия к книге, можно читать, а можно и не читать. Теперь другое дело. Теперь я сказал бы так: совесть — это то, на чем держится человеческое сообщество; совесть — это самое естественное проявление человечности. Глядите, какая вырисовывается картина: положим, что суть нашего организма есть кровь, она превращает мертвую или полумертвую материю в жизнь; так вот суть нашей жизни, ее, фигурально выражаясь, кровь, есть совесть. Подлость только потому и существует, что по-настоящему подличает ничтожное меньшинство людей, это маленький воспалительный процесс... Если подличать будут все, то жизнь перестанет существовать, всем подличать невозможно...

— Вы все-таки сумасшедший, — сказала Елена Ивановна и перестала смеяться.

Тогда засмеялся я. Я довольно долго смеялся. Отсмеявшись, я вышел от Елены Ивановны с таким легким сердцем, что едва не полетел. Мне самым серьезным образом показалось, что я сейчас полечу, я даже сделал над собой некоторое усилие, чтобы не полететь. Потом я оделся и отправился на улицу прогуляться. Я вышел к Никитским воротам и, повернув налево, пошел вдоль Суворовского бульвара, присматриваясь к прохожим.

Мне вдруг захотелось кого-нибудь остановить и рассказать, что раньше я был ужасным дураком, а теперь мне много, очень много чего открылось. Так мне этого захотелось, что я взял и остановил одного прохожего.

— Видите ли, — сказал я, — у Твардовского есть слова: «...этим странным и довольно обременительным аппаратом — душой». Не правда ли, хорошо? Можно с вами об этом поговорить?

Прохожий мне ничего не ответил. Он обошел меня стороной и вдруг побежал. Даже трудно сказать, как это меня огорчило. У меня появилось такое чувство, какое бывает, когда в хороший весенний день солнце зайдет за тучу и на душе станет пасмурно, нехорошо.

Я гулял по Суворовскому бульвару еще часа два, прохаживаясь то туда, то сюда, а неприятное чувство все щемило меня, щемило. И тут... тут со мной происходит одно маленькое происшествие, которое меня удивило, но, прямо скажу, не показалось чем-то сверхъестественным. Я уже собирался домой, когда шагах в двадцати впереди себя я увидел знакомую спину. Она выглядела поразительно знакомой и даже возбуждала трогательное чувство. Я поспешил, чтобы нагнать человека с знакомой спиной, и, когда почти поравнялся, этот человек, видимо заслышав мои шаги, обернулся и посмотрел мне в глаза. Я сразу узнал эти глаза, большой нос и губы, которые остановились в полуулыбке. Странно сказать, но это был я...

Некоторое время мы молчали, ласково рассматривая друг друга, потом другой я засунул руки в карманы, откинулся и сказал:

— Ты вот что. Ты не расстраивайся, — сказал другой я. — В конце концов то, что происходит с тобой, бывало со всеми стоящими людьми. Тут тебе и Гаршин, и Жанна д'Арк, и Магомет, и Дмитрий Иванович Писарев. Ты, брат, попал в неплохую компанию!..

СЛУЧАЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ

В десятом часу утра, когда начинающий газетчик Вениамин Погорельцев, слюня указательный палец, пересчитывал командировочные, в сорока километрах восточнее его родного города Островцы у колхозного шофера Хвастунова случилось горе. В десятом часу утра он возвратился из поселка Медянка, названного потому Медянкой, что неподалеку находилась медная шахта, и не нашел дома ни жены, ни ее чемоданов. На комоде придавленная статуэткой танцовщицы лежала записка: «Ухожу, поскольку полюбила другого». Хвастунов несколько раз прочитал записку, утер громадной ладонью лицо и уселся на табуретку. Он сидел, сгрудившись над столом, который был набело выскоблен и пахнул полом, и его спина выражала столько обиды и одиночества, что на него, наверное, больно было бы смотреть.

Определенно можно сказать, что при других обстоятельствах Хвастунов не был бы так огорошен, жили они с женой как кошка с собакой, и, кроме того, жена страдала чем-то по женской линии, но теперешние обстоятельства были обидны. Во-первых, он был обманут: жена нарочно отослала его в Медянку за хозяйственным мылом, чтобы беспрепятственно совершить измену. Это было обидно. Во-вторых, она, скорее всего, сбежала к одному мужику из заготзерна, с которым ее видели в Островцах, в кино и на танцах. Это было еще обиднее, так как, по слухам, мужик этот был завалящий тип, замечательный только тем, что один в округе носил галстуки и кепку из искусственного каракуля. Словом, все получилось очень обидно для Хвастунова, и, принимая во внимание некоторую мрачность его характера, то, что у него на совести было два года отсидки за избиение районного уполномоченного, следовало ожидать, что измена не будет спущена с рук, что предполагаются неприятности.

В ту самую минуту, когда Хвастунов поднялся из-за стола и, постучав по нему костяшкой среднего пальца, сказал: «Ну, умою я вас, ребята!», начинающий газетчик Вениамин Погорельцев хлопнул калиткой и, остановившись посреди улицы, стал вспоминать, не забыл ли он чего-нибудь из того, что нужно в командировке. Он вспоминал, несколько наклоня голову и надув щеки, и вдруг подумал, что сейчас его можно свободно принять за умалишенного, настолько странными представились ему собственная поза и выражение собственного лица. Тогда он стал думать, а что, если у него действительно не все дома, и надумал, что точно, не все, но ровно в той степени, в какой это естественно для всякого незаурядного человека.

Не то чтобы Вениамин Погорельцев считал себя незаурядным человеком, но часто в минуты сладкой задумчивости, прислушиваясь к внутреннему движению, он с удовольствием открывал в себе приметы некоторых исключительных человеческих свойств. Например, он испытывает приступы острой душевной боли, когда пенсионер, живущий внизу, бьет монтировкой теленка, который время от времени забредает к нему в огород, не может без спазм слушать выступление по радио Урюпинского казачьего хора и как-то особенно, видимо, не так, как другие, переживает сумеречные часы. Полтора года назад эти приметы навели его на ту мысль, что он должен писать.

Как только его постигла удача, то есть когда его корреспонденция «А судьи кто?» была опубликована в районной газете, Вениамин Погорельцев сильно затосковал по новой, захватывающей дух жизни, которая пахла лежалой бумагой и звенела колокольчиком в пишущей машинке «Москва». Когда же в газете увидела свет его седьмая корреспонденция, в которой рассказывалось о злоупотреблениях на меланжевом комбинате, Погорельцев уволился из районного отделения «Сельхозтехники»,

что впоследствии вылилось в самые отчаянные неприятности.

Но на первых порах все обстояло так, что лучше не надо. Он поднимался в одиннадцатом часу, долго ходил по комнате из угла в угол, нагуливая рабочее настроение, затем опрятнейшим образом раскладывал на обеденном столе канцелярские принадлежности и усаживался за стол, причем его глаза немедленно приобретали оловянное выражение. Независимо от того, шло у него писание или не шло, в два часа он поднимался из-за стола, обедал и отправлялся в редакцию. Там он ходил по отделам, приставал ко всем с разговорами, вызнавал, не предвидится ли вакансий, и млел от слов «гонорар», «гранки» и «специальный корреспондент».

По вечерам, когда город угомонится и станет так тихо, что кашель пенсионера, живущего внизу, кажется громким, как канонада, Вениамин Погорельцев садился за документальную повесть. Документальной он называл ее потому, что сюжет был подсказан жалобой, присланной в газету одной старухой; в жалобе излагалась сложная коммунальная склока. Работа над повестью двигалась туго, так как у Погорельцева внезапно открылась необыкновенная требовательность к слогу, и с каждым предложением он возжался по полчаса. К тому времени, когда Погорельцева послали в первую командировку, которой он так обрадовался, что у него даже открылась бессонница, дело стало на эпизоде объяснения двух юных соседей по коммунальной квартире из насмерть враждовавших семейств. Объяснение заканчивалось поцелуем. Далее юноша должен был напроситься к своей подруге на день рождения, обещав до неузнаваемости изменить свою внешность. В разгар застолья юный любовник будет разоблачен братом именинницы, и глава закончится дракой. В ночь накануне командировки Погорельцев был так рассеян, что написал всего одну фразу: «Она молча пожала его мускулистую руку». Долгое время он сомне-

вался насчет эпитета «мускулистая», но ничего лучшего не придумал и пошел спать.

Это было еще тогда, когда Хвастунов не подозревал о готовящемся предательстве и мирно храпел у себя в сенцах, на топчане под марлевым пологом, который навевал сравнение с катафалком. Ему снилось, как будто он купается в грязном пруду, а вокруг него плавают отвратительные, ни на что не похожие твари. Поутру Хвастунов спросил у жены, к чему отнести сей сон, — та странно на него посмотрела и сказала, что не к добру. Затем, как уже говорилось, она отослала мужа в Медянку за хозяйственным мылом, а сама была такова.

Во втором часу дня Хвастунов сидел в чайной и пил портвейн. Чем больше он пил, тем злее делался его взгляд, так что мужики, бывшие в чайной, зная его характер, не заговаривали с ним и избегали смотреть в глаза. Выпив четыре бутылки портвейна и съев одиннадцать пирожков с капустой, Хвастунов вернулся домой, достал из-за гардероба тульскую одностволку и сел ее чистить. Покончив с чисткой, он стал снаряжать патрон: насыпал три мерки пороху, загнал жакан и залил гильзу воском.

В это время Вениамин Погорельцев покупал в кассе автовокзала билет до совхоза «Октябрьский», где ему предстояло собрать материал для большого очерка о косарях, потом он выпил бутылку пива и стал ждать автобус.

Дождавшись автобуса, он сел на переднем сиденье и принялся надменно оглядывать пассажиров, как будто хотел сказать: «А известно ли вам, граждане, что с вами в одном автобусе едет специальный корреспондент?»

По пути Погорельцев разговорился с соседкой, скуластой девицей лет двадцати пяти. Потом он даже достал блокнот и стал задавать вопросы, касающиеся заготовки сочных кормов. Соседка отвечала глупо и невпопад, краснела, делала глазки, всячески подчеркивая Погорельцеву, что он за птица.

Тем временем Хвастунов, спрятав за спинкой сиденья одностволку, завел грузовик и вылетел за околицу. До развязки теперь уже оставалось, как говорится, всего ничего. Хвастунов стремился навстречу ей, озорно гоняя во рту потухшую папиросу, а Вениамин Погорельцев пересказывал соседке интригу документальной повести. Соседка заинтересованно вздыхала и наводила его на матримониальные мысли. В конце концов, она так его раззадорила, что он сошел вместе с ней, за две остановки до совхоза «Октябрьский», но только он взялся за ее локоть, как девица отпрянула и сказала:

— Ну ладно, побаловались, и будет. Иди-ка своей дорогой, а то как огрею — не обрадуешься.

От неожиданности у Погорельцева приоткрылся рот. Ему стало горько, конфузно, досадно. Он стоял у дороги и от неловкости озирался по сторонам, но все видел так, как если бы он ничего не видел. Вот он наткнулся взглядом на какую-то тетку, сидевшую на чемоданах, наверное, дожидавшуюся автобуса, на газик, который застрял в проселке и был похож на задумавшегося бегемота, но видел не тетку и не газик, а точно их привидения.

Вдруг он насторожился. По шоссе с дикой скоростью мчался грузовик. Погорельцев подумал, что, должно быть, за рулем пьяный, и сошел от греха в обочину, но грузовик резко затормозил, произведя отвратительный, саднящий звук, немного проскользил по асфальту и встал. Из кабины вылез мужик с ружьем.

— Ну, вот и встреча! — сказал мужик, восхищенно глядя на Погорельцева. — Молись, козел!

Тетка, сидевшая на чемоданах, завизжала и замахала руками, а Погорельцев стал оглядываться по сторонам, ища того, к кому обращается злой мужик. Кроме его и тетки, вокруг никого не было, и Погорельцева поразила догадка, что обращается злой мужик, как это ни странно, к нему, что произошло какое-то ужасное недо-

разумение и что сейчас, по недоразумению его, должно быть, убьют. Он еще не успел как следует испугаться, но уже припустил от мужика по проселку.

Тут грянул выстрел. Погорельцеву стало больно где-то справа под волосами.

Все, что случилось затем, он вспомнить не мог, поскольку хотя и оставался в сознании, но впал в дурноту. Вполне очнулся он только в медпункте совхоза «Октябрьский». Оказалось, что он сидит посреди комнаты на табурете, что какая-то бабка, наверное фельдшерица, перевязывает ему голову, а вокруг тошнотворно пахнет мазью Вишневского и карболовой кислотой.

Рана оказалась пустяшной. Пуля пробила ухо чуть выше мочки, над чем впоследствии долго потешались товарищи по перу: все советовали ему носить в ухе серьгу, чтобы дырка не пропадала даром. Пока Погорельцеву делалась перевязка, он морщился и думал о том, что не уволься он из районного отделения «Сельхозтехники», не польстись он на новую жизнь, которая пахнет лежалой бумагой и весело позванивает колокольчиком в пишущей машинке «Москва», ничего бы этого не случилось.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ

В начале 1845 года тогда еще никому не известный ярославский помещик Николай Алексеевич Некрасов ночевал у отставного секунд-майора Чемоданова, тоже помещика, но другого уезда. Последний, уж не знаю за что, числился под судом.

Накануне Николай Алексеевич проигрался, что называется, в пух и прах и, чтобы забыться, выехал на охоту. Но так как пора была для охоты самая неподходящая, так как погода стояла на редкость дрянная, он по-

ходил, походил, потом плюнул и отправился ночевать к своему приятелю Чемоданову.

Спалось Николаю Алексеевичу, видимо, неспокойно, так как у Чемоданова двумя неделями прежде родился сын, который, надо полагать, скандалил всю ночь, как это водится у новорожденных, ибо наутро, спустившись из спаленки для гостей, Николай Алексеевич долго смотрел на младенца, а некоторое время спустя даже написал такие стихи:

По губернии раздался
  Всем отрадный крик:
Твой отец под суд попался —
  Явных тьма улик.
Но отец твой — плут известный —
  Знает роль свою.
Спи, пострел, покуда честный,
  Баюшки-баю...
Будешь ты чиновник с виду
  И подлец душой,
Провожать тебя я выйду —
  И махну рукой.
В день привыкнешь ты картинно
  Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока невинный.
  Баюшки-баю.

Этот младенец, отмеченный великим поэтом, — самый мой отдаленный пращур, из тех, что я знаю, если, разумеется, не считать майора, известного только тем, что он был под судом. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха, — Николай Алексеевич промахнулся, и из моего прапрадеда Сергея Илларионовича Чемоданова вышло нечто прямо противоположное его скоропалительному прогнозу.

Еще будучи студентом Санкт-Петербургского университета, Сергей Илларионович сошелся с революционерами, распространял прокламации, дважды был арестован и, наконец, участвовал в первой русской манифестации

с красным флагом. По окончании университета Сергей Илларионович уехал к себе в деревню, так как питал отвращение к канцеляриям и казармам, то есть ко всякой службе вообще. Он первое время пропагандировал крестьян своей вотчины, но крестьяне отнеслись к нему с недоверием и даже враждебностью, как, впрочем, и дóлжно всякому истинному работнику отнестись к праздному человеку, который наговаривает на себя. Сергею Илларионовичу это было больно, он подарил общине свои владения, включая усадьбу со службами, а сам переехал в город.

Вскоре он был осужден по делу 56-ти. Сергей Илларионович получил десять лет каторги, но когда великий князь Николай Николаевич самолично делал ревизию бунтовщикам, Сергей Илларионович совершил на него покушение, попытавшись ударить кандалами по голове. За это он был посажен в Шлиссельбургскую крепость, а в мае 1877 года казнен.

От Сергея Илларионовича остался мальчик, который был рожден в Петербурге одной кружевницей. Вскоре после рождения он был отдан на воспитание в деревню. Мальчик, названный при крещении Моккием, сохранил отцовскую фамилию Чемоданов, которой впоследствии чрезвычайно гордился и рассказывал всякому встречному-поперечному, что эта фамилия записана в седьмой родословной книге.

Моккий Сергеевич Чемоданов воспитывался до одиннадцати лет в крестьянской семье, которую все в деревне называли Долбухами. Так и говорили: Долбухи; Долбухи гуляют или Долбухам во всем невезение. Поскольку петербургская мать ежегодно высылала на его содержание некоторую сумму денег, Моккия Сергеевича не били, и вообще он был на привилегированном положении.

В тот год, когда повесили Сергея Илларионовича, Моккий Сергеевич был отослан в Москву к некоему Гавриле Долбухину, который служил в ресторане при ме-

блированных комнатах «Парадиз». Моккий Сергеевич сначала три года пробыл на мойке, потом был произведен в половые, или в официанты, как их тогда стали называть на европейский манер. Это произошло около того самого времени, когда было совершено покушение на Александра II Освободителя.

Моккий Сергеевич был ужасный вор. Воровал он вовсе не из нужды или преступного склада характера, а по вдохновению. Он не мог равнодушно видеть никакой безнадзорной вещи и, случалось, уносил совершенно ни к чему не пригодные предметы, вроде циркулей, дамских шляп, всевозможных афишек, а однажды он даже украл из полицейского участка шашку, легкомысленно поставленную в уголок. В этом отношении он был в своем роде личность. Кстати, владельцы меблированных комнат «Парадиз» в скором времени разорились и этим во многом были обязаны неугомонному нраву Моккия Сергеевича.

Когда «Парадиз» пошел с молотка, мой прадед вернулся в свою деревню. Примерно в полутора верстах от нее он купил хутор и завел постоялый двор с тайной продажей водки. Хотя с земляками он знался по-прежнему — ходил к ним в гости, крестил детей и непременно участвовал во всех мирских сходках, — драл он с них самым бессовестным образом. Но мужики терпели, и только, когда в один прекрасный день Моккий Сергеевич был уличен в краже мирского сена, Долбухин и еще кое-кто побойчее ночью сожгли его стог. Моккий Сергеевич не пожаловался, но с тех пор с деревенскими компании не водил.

Исключением были двое близнецов, Кирилл и Мефодий, которых он взял почти мальчиками на хутор и сделал лакеями при постоялом дворе. Служили они во фраках, так как Моккию Сергеевичу хотелось, чтобы у него все было, как в «Парадизе», но выглядели в них нелепо и постоянно молили одеть их по-человечески, но Моккий

Сергеевич ни в какую. По вечерам, когда Кирилл и Мефодий подремывали от усталости, он сажал их напротив себя и рассуждал о своей фамилии и о седьмой родословной книге, намекая на непростое происхождение.

Моккий Сергеевич женился еще в Москве. Они с женой нажили трех девочек и одного мальчика. Девочки в разное время умерли, а мальчик, Владимир Моккиевич, окончил в уездном городе гимназию и учился в Москве, в университете.

Моккий Сергеевич умер в 1905 году. В октябре этого года Кирилл и Мефодий, которые в последнее время глядели язвительно и недобро, демонстративно сожгли перед окнами свои фраки и, уходя со двора, грозились подпустить Моккию Сергеевичу красного петуха. Моккий Сергеевич перепугался и слег. На третий день его разбил паралич, все, что было справа от переносицы, отказалось служить, и когда он улыбался или плакал одной стороной лица, вторая выглядела надменно и осуждающе.

Владимир Моккиевич получил по смерти отца около сорока тысяч рублей. В это время он учился на третьем курсе юридического факультета, но, получив наследство, немедленно бросил университет, о чем впоследствии пожалел. Прежде всего он снял в Москве, на Пречистенке, большую квартиру и накупил всякой обывательской чепухи, например дюжину вазочек в стиле «модерн», две из которых сохраняются по сию пору. Хорошенько устроившись, он предполагал заняться литературой, но дело долго не подвигалось, и только 1 августа 1910 года, в день, когда по странной случайности вышел указ о закрытии публичных домов, ему удалось напечатать одно лирическое стихотворение. Он получил из редакции три рубля и после этого долгое время вообще ничего не писал. Но спустя чуть ли не год его стихотворение было где-то перепечатано, вдруг получило огласку и сделалось популярным. В литературных кругах даже пошли разго-

воры: Чемоданов-де, Чемоданов... Это была счастливейшая пора в жизни Владимира Моккиевича. Потом дед снова принялся за стихи, но ничего близкого к первому не сочинил. Правда, он рассказывал, будто Блок украл у него одну строчку: «С Новым годом, сердце. Я люблю вас тайно...»

Во время бума, в 1912 году, Владимир Моккиевич пустился в биржевые аферы и разорился. Дело дошло до того, что из обывательской чепухи, кроме вазочек в стиле «модерн», у него остался один костюм, заколка в виде гитары и капсюльный пистолет. Вот когда он пожалел, что не окончил университета. Но, правда, на службу его взяли даже с незаконченным образованием, и он вдруг обнаружил на служебном поприще такую прыть, что в короткое время стал выдающимся специалистом по лесному хозяйству, получил личное дворянство, какой-то орден и одно крупное денежное вознаграждение. Наконец, он был назначен главным лесничим царских владений в Крыму и обосновался в Гурзуфе. В это время он принялся снова закупать обывательскую чепуху, но в Ливадии, на благотворительном вечере в пользу раненых гренадеров, познакомился с моей бабкой, и она вовремя прибрала Владимира Моккиевича к рукам, благо была на целых двенадцать лет старше его. Но жили они на удивленке хорошо. От них пошли двое моих дядьев и тетка Евгения.

Мой отец родился от первого брака Владимира Моккиевича с какой-то припадочной поэтессой, которая кончила самоубийством, бросившись в пролет лестницы. Дед до такой степени не любил о ней вспоминать, что даже отдал моего отца на воспитание к дальним родственникам, державшим суконную мануфактуру.

С 1917 года Владимир Моккиевич, по его собственным словам, впал в какое-то недоумение. Он было эмигрировал, то есть уехал на рейсовом пароходе в Констанцу, но вскоре вернулся, так как в Румынии ему показалось про-

винциально. Впоследствии Владимир Моккиевич был от всего в стороне и часто хвалил былое, из-за чего дядья и тетка Евгения с ним порвали и в тридцать втором году уехали строить Комсомольск-на-Амуре. До самой смерти он был бухгалтером.

Мой отец персональный пенсионер. Прошлое его во многих отношениях замечательно. В отроческие годы он служил в Первой Конной, правда в качестве ротного писаря, но рассказывал, что раза два стрелял шляхту из пулемета. Потом, в Москве, он заведовал клубом железнодорожников и разговаривал с Кировым. Киров приезжал к ним в клуб на какой-то концерт, и отец в антракте поил его чаем.

— Только чай-то у нас, говорю, без сахарина, — рассказывал он о своем разговоре с Кировым. — А Сергей Миронович отвечает: «Без сахарина так без сахарина».

В 1927 году мой отец закончил рабфак и с тех пор до самого последнего времени занимался гидроэлектростанциями. В Отечественную войну у него была бронь.

Мой папаша славный мужик. Я не помню, чтобы он ссорился с матерью, он в рот не берет спиртного и вообще имеет массу достоинств. Но когда он заводит со мной разговор о жизни, то есть о том, что в жизни нужно быть решительным, подтянутым и твердо идти к намеченной цели, я слушаю его, и мне непереносимо хочется что-нибудь сломать либо изрезать. Потом разговор заходит непосредственно обо мне: отец говорит, что я слюнтяй и из меня не только не будет толку, но что я еще наживу себе бед. На это я отвечаю ему пословицей: голый что святой — беды не боится.

Уж это что правда, то правда. Несмотря на то что мне уже тридцать четыре года, что я женат и у меня есть сын, я беспокойный и необеспеченный человек. Зарабатываю я так мало, что жена даже запрещает мне об этом распространяться. Однако я серьезно подозреваю, что такие люди, как я, суть наиболее характерный и путный

человеческий продукт нашего общества, больше того: возможно, высшая идея нашего общества заключается именно в получении такого человеческого продукта. Ведь хорошие машины строят везде и хорошие стихи сочиняют везде, но я сомневаюсь, чтобы где-то еще в качестве основного продукта общество производило необеспеченных и беспокойных людей, то есть необеспеченных в силу своего беспокойства. Это их первая отличительная черта. Вторая заключается в том, что они не знают причины своего беспокойства. В остальном это обычные люди, непритворно страдающие по пустякам, например в том случае, если они повстречали на улице некрасивого человека; они, как правило, горячие головы, и их очень легко надуть.

Моему сыну десятый год. Последний из Чемодановых пока еще, как говорится, ни то ни се, если не считать некоторой склонности к мошенничеству, чем он неприятно напоминает Моккия Сергеевича. Например, на прошлой неделе он выжулил у меня полтинник якобы на приобретение книг для школьной библиотеки, а сам прокутил его на мороженом и кино. Другая его черта — задумчивость. Он может уставиться в окошко и битый час смотреть неизвестно куда. В такие минуты я люблю за ним наблюдать. У него на лице складывается тонкое, пронзительное выражение, и мне кажется, что, глядя на улицу, на людей, снующих по каким-то своим делам, он спрашивает себя: «Вот жизнь; что она, зачем, по какому случаю?» Хотя, конечно, не исключена возможность, что он прикидывает, как бы еще меня обдурить.

ЕСТЬ В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ...

Есть в нашем отечестве одна железнодорожная станция, зовется Нуча. Вообразите десяток-другой приземистых домиков, ухоженных до неузнаваемости рассыпча-

тым снегом, которые дымят день-деньской голубыми дымами и жмутся друг к другу, будто так им покойнее. Вообразите пустынную улочку, где бродят сконфуженные беспризорные псы, оголодавшие до того, что не брезгуют кислой капустой, которую из озорства скармливают им здешние мужики, и аккуратно вылизывают помойные ямы; когда же не бродят, как привидения, не грызутся и не блудят, то собираются возле чайной, зарываются в снег и скучают. Теперь вообразите неправдоподобную тишину, изредка нарушаемую сахарным похрустыванием шагов, или собачьим лаем, или простуженным голосом курьерского поезда, — вот и выйдет Нуча. Разве что вообразите себе еще чайную, которая от прочих построек отличается тем, что у нее над крыльцом написано «чайная», а дверь оторочена инеем и клубится. «Чайная» же сама по себе обыкновенная комната, вот только буфет и буфетчица Зина с венцом в волосах — чисто невеста.

В «чайной» с утра до закрытия не протолкнуться. От чада, табачного дыма и густого дыхания режет в глазах, а гул голосов и позвякивание посудой производят в ушах колокольный звон, так что человеку непривычному может сделаться дурно. Но завсегдатаи, то есть местные мужики, в «чайной» положительно обжились, это им прямо дом родной, и так как почти все мужское население Нучи работает на лесопильном заводе за полотном, то по утрам в «чайной» аккуратно прохлаждается вечерняя смена, а по вечерам — утренняя.

Из здешних обитателей совсем не бывает в «чайной» один учетчик Черпаков, который сидит в поселке от конторы какой-то геологической экспедиции. Его недолюбливают и поругивают за глаза. В глаза его ругает только Саша Козырь, долговязый и видный малый, из тех, кого в этих местах называют «баской».

Саша Козырь, кстати сказать, ужасный мот и гуляка. Пьет он так, что ему нет ровни, и рассказывают, будто однажды, отправившись в отпуск, он ухитрился спустить

по дороге все до копейки, доехал до Армавира и воротился назад. Так вот, если ему случается ненароком повстречать Черпакова, он орет ему во все горло:

— Эй, арифметик, экономная душа! Пойдем водку пить, я угощаю...

На что Черпаков всегда укоризненно покачивает головой и бормочет себе под нос: «Ах ты, гультяй, ах, прощелыга!»

А теперь вообразите, что в один прекрасный день, когда население Нучи дружно морщилось от слепящего снега, а весна только-только норовила себя показать, случай нежданно-негаданно свел Черпакова и Сашу Козыря и уготовил им пережить такое, что редкому бедолаге выпадет пережить.

Утром этого дня Черпаков собрался везти зарплату буровикам, которые обретались тогда километрах в пятидесяти от Нучи, но тут обнаружилось, что шофер Востряков, обыкновенно доставляющий его до места, заболел свинкой и чуть ли не умирает. Везти Черпакова велели Саше Козырю.

Теперь вообразите, до чего было им неприятно это совместное путешествие и как они старались не глядеть друг другу в глаза и ненароком не заговорить. Всю дорогу до поселка Третьи Левые Бережки, откуда уходила на буровую колдобистая колея, они неловко поеживались в сиденьях и строили такие мудреные и неживые гримасы, которые в другой раз им ни за что бы не удались. При этом Саша Козырь озорно действовал рычагами, поигрывал папиросой во рту и время от времени принимался мурлыкать какой-то несуразный, ни на что не похожий мотив. А Черпаков глядел строго перед собой и обнимал брезентовый мешочек с деньгами, что выходило у него так натуженно и мертво, что он до странности походил на иконописную богородицу.

После Бережков по небу вдруг побежали сиреневые облака, потянуло промозглым ветром и тронуло снежную

пыль, которая стала подниматься и закручиваться в фигуры, а затем почти мгновенно оборотилась сплошной матовой пеленой. Тут пасмурный лик Черпакова чуть-чуть посветлел, и, поерзав от нерешительности в дерматиновом сиденье, он сказал:

— Стало быть, пурга...

— Ну! — ответил нехотя Саша Козырь.

А Черпаков сделал для важности паузу и тоже вроде бы нехотя, вроде бы через силу проговорил:

— Не ровен час, занесет или с дороги собьемся. Давай, что ли, назад?.. В Бережках заночуем, а утром, стало быть, дальше.

Саша Козырь молча кивнул и притормозил; затем, оглядевшись по сторонам с таким выражением на лице, с каким ищут то, что найти или невозможно, или не хочется, стал разворачиваться, и они поехали назад, в Третьи Левые Бережки.

Уже ехали они около часа, и давно пора было бы замаячить впереди мутным огонькам Бережков, но Бережки словно вымерли, а тут посмурнело, затем сумерки сделались гуще, и вдруг наступила ночь.

— Однако! — сказал Саша Козырь, вглядываясь в темень, и ухитрился обозначить своим «однако» и недоумение оттого, что Бережки словно кто-то унес, и нерешительность, поскольку ехать дальше было делом небезопасным, а главное гадкое, конфузное чувство: вот, мол, сплоховал перед Черпаковым, завез невесть куда старика.

Но все же вездеход Саша Козырь не остановил, так как с ним приключилось то, что в другой раз называлось бы «заврался» или «загулял», а по русскому обычаю — припустил на авось. Прошло с полчаса, Черпаков досадно махнул рукой и сказал:

— Брось ты это дело, того и гляди, совсем заплутаем. Давай, что ли, ночевать, может, пурга к утру поутихнет.

— Ночевать так ночевать, — сказал Саша Козырь. —

Вот тебе, дядя, отель «Тундра», а вот тебе бесплатная койка. Спи не хочу.

— Тебе бы все шутки шутить, а нет тебя по дорогам ездить, все тебя на простор тянет...

— Есть такое дело, папаша, заплутали чуток, — сказал Саша Козырь, недовольно кашлянул и отвернулся. Он распахнул было дверцу, но в нее тут же залетела пурга, вдруг стало жутко, и он торопливо захлопнул дверцу.

Черпаков плюнул в сердцах и сказал:

— Знал бы, что ты за гусь, за сто блинов с тобой не поехал! Я, вообрази, с прежним шофером, как по городу, в этих местах катался.

— Вот бы с ним и катался, — ответил ему Саша Козырь. — И вообще ты, дядя, полегче, а то я человек неуравновешенный!

— Нелепый ты человек.

— А я говорю — осади!

Тут у них вышла ссора, и они наговорили друг другу много незаслуженных колкостей, а когда угомонились и устроились каждый в своем сиденье, накрывшись один — промасленными телогрейками, другой — хрустящим и твердым как жесть брезентом, то обиженно отвернулись в разные стороны и стали прислушиваться к тому, как скулила за перегородкой пурга.

Саша Козырь думал о том, с каким удовольствием он станет рассказывать приятелям о теперешнем злоключении и выставлять Черпакова паникером и дураком. А Черпаков оглядывал в подслеповатом свете маленькой лампочки нутро вездехода и оставался им все более и более недоволен. Особенно не по душе пришелся ему отвратительный коричневый цвет, в который было выкрашено все, во что он ни упирался взглядом, и который терзал его взгляд на манер того, как поскребывание острым ножом по сковородке терзает слух.

С тем они и заснули. Черпакову приснились собаки,

и он ухитрился сказать себе сонному: «Это к добру». А Саше привиделась во сне буфетчица Зина, выделывавшая у всех на виду такое, что проснулся он с блудливой улыбкой на устах и в мелком поту.

Первое, что посетило его по пробуждении, было такое ужасное ощущение холода, которое может быть знакомо только насмерть замерзавшему человеку. Ему показалось, будто внутри его все помертвело и, может быть, даже подернулось инеем, как потолок вездехода, висевший над головой. Состояние это было таким отвратительным, что Саша решил что-нибудь немедленно предпринять, чтобы согреться, но тут он глянул наружу и обомлел: вокруг было белым-бело. Пурга уже не скулила, как давеча, а злобствовала, лютовала, и ветер наддавал с такой силой, что, кажется, поднатужься еще немного, и вездеход сдунет с лица земли, как кучку пепла с ладони. Тут Саше Козырю стало не по себе и в голову полезла всякая скорбная чепуха. А что, если пурга, подумал он, не уляжется неделю, а то и две, и ему суждено прекратить свое существование и даже истлеть в этой металлической домовине на гусеничном ходу?..

Впрочем мысли эти были не без приятности, так как ему сразу же сделалось себя жаль. Кроме того, он допускал свои хмурые мысли с тем непременным условием, что на самом деле ничего ужасного не произойдет.

Тут поднялся Черпаков. Он огляделся, соображая, где он и что с ним, затем успокоился, закутался в полушубок, сунул рукава в рукава и тоже стал думать.

«Ведь надо же, как завернуло! — говорил он себе. — Ведь если, скажем, еще день-другой пропуржит при таком морозе, то и ноги немудрено протянуть. Помощи, прямо скажем, ждать неоткуда, пешком в такую пургу не пойдешь, вот и выходит: ложись и помирай. А ведь, боже мой, как неохота, хоть и пожил, тоже сказать, на своем веку. И ты погляди, ну натурально как в гробу, даже краска такая, какой гробы красят!»

Поскольку и Черпакову и Саше Козырю было не по себе, вскоре размолвка их затомила, как, случается, томит одиночество или бессонница.

Первым заговорил Саша Козырь. Сделав такое лицо, как будто его отчитали, он поднатужился и сказал:

— Интересно, и надолго вся эта нудная канитель?

— А бог его знает, — ответил с готовностью Черпаков. — Лонись[1], на Октябрьские, неделю пуржило.

— Ну! — утвердительно сказал Саша Козырь.

— Неделю, конечно, не неделю, — продолжал Черпаков, — а суток двое как пить дать пропуржит. Бог даст, выдюжим...

— А что это ты, дядя, верующий, что ли? Что у тебя ни слово, то бог, вроде как вместо матерного.

— Какой там! — сказал Черпаков и махнул рукой. — Родители мои, вообрази, были из староверов, ну и привык. А как бы тебе не соврать, лет двенадцати я из дому сбежал, вот ей-богу, сбежал.

И Черпаков стал рассказывать о себе такое, чего Саша Козырь никак не предполагал у него за душой и из чего выходило, что Черпаков вовсе не Черпаков, а совсем другой, неведомый человек. Через час Саша Козырь называл его уже по имени-отчеству, Савелием Ивановичем, а тот его по-приятельски Сашей, и разговор сделался по душам.

Однако голодная истома и студеное омертвение во всем теле скоро стали производить в Саше Козыре неожиданное и странное действие: сколько он ни силился, слушать Черпакова было ему невмочь, а в ушах нет-нет, зазвучит что-то похожее на позвякивание колокольчиков, лай собак, и тот умопомрачительный гул, который бывает в многолюдных и бестолковых собраниях. В голову к нему снова полезли нехорошие мысли, и он вдруг представил себе, каким безобразным сделается его тело,

---

[1] Лонись — в прошлом году (*сибирск*).

когда спустя недели, а возможно и месяцы, их выкопают из подтаявшего сугроба. От этого видения, ставшего у него перед глазами болезненно ярко и правдоподобно, его охватил такой ужас, как будто на самом деле ему пришла пора помирать.

— А у меня, Савелий Иванович, — сказал вдруг Саша Козырь, — а у меня все как-то так получается, что и рассказать нечего. Беспутная у меня какая-то получается жизнь, черт ее знает!

Сказав это, он замолчал и вперился взглядом в стекла.

— Учиться, что ли, куда пойти или в библиотеку записаться? А первым делом, как выберемся, пить брошу, Савелий Иванович, это дело заметано! А то скоро уж тридцать стукнет, а вроде как и не было ничего, не помню ничего, точно с похмелья. А если, скажем, мы тут с тобой насмерть замерзнем, тогда что? Это ведь какая досада, ты посуди! Жизнь, Савелий Иванович, не гармошка, новой не купишь.

И он опять замолчал.

— И вот я теперь думаю об этом, и пот меня прошибает! А вдруг я помру теперь? Ё-моё!... — он схватился за голову и по-старушечьи закачался из стороны в сторону.

— Ты, Саша, эти мысли брось, — сказал Черпаков, — ни к чему. Погодим немного, глядишь, пурга и утихнет. Заведем мы тогда твою машину, и дуй нам ветер в задние колеса!

— Легко тебе живется, Савелий Иванович, — сказал Саша Козырь, — прямо ты не человек, а газета.

Тем временем свечерело. Посинели окошки, и в темноте особенно страшно запела свою гугнивую песню пурга.

Только чтоб не сидеть без дела, Саша Козырь стал собирать промасленные тряпицы, сложил их в кучку между сиденьями и поджег, но костерок напустил такого

прогорклого смраду, что Черпаков побелел, закашлялся, и костерок пришлось потушить.

В эту ночь они долго ворочались и никак не могли заснуть. Обоих донимал отвратительный холод, а в животах распространилась резь и какое-то новое ощущение, точно животов не было вовсе. Черпаков жалко постанывал и вздыхал, а Саше Козырю чудилось, будто он одновременно и спит и не спит, и это состояние было настолько мучительно, что к утру он сам себе опротивел.

А утром грянула оттепель. Сквозь пургу, которая вдруг побледнела и потом обернулась обыкновенным снежком, проглянуло жемчужное солнце и разом посеребрило окрестности.

Если бы в этот час обитатели поселка Третьи Левые Бережки, жившие неподалеку от школы, выглянули на улицу, то они обнаружили бы на школьном дворе, аккурат напротив учительского туалета, невесть как попавший туда заснеженный вездеход. Но обнаружили его только часа через два. Черпакова и Сашу Козыря, хотя и найденных в полном здравии, все же препроводили на всякий случай в здешний медпункт, где спустя некоторое время они лежали на койках и вели такой разговор:

— Не повезло нам с тобой, Савелий Иванович, прямо скажем, не повезло. Это ж надо, трое суток возле школьного сортира околевали!

Черпаков прикрывался бледными веками и отвечал:

— Господи, да неужто все это было?! Помирать буду, вспомню про этот случай.

— Ну, ты тоже скажешь! Забыть это дело и никому не рассказывать — засмеют!

А на другой день они возвратились в Нучу, где никто не подозревал об их злоключении и до сих пор не подозревает. Саша Козырь, вообразите, все тот же мот и гуляка. Если ему случается повстречать на улице Черпакова, он орет ему во все горло:

— Савелий Иванович, а Савелий Иванович. — В этом месте он таинственно подмигивает. — Выпьем, что ли, по случаю совместных несчастий?

На что Черпаков укоризненно покачивает головой и отвечает:

— До чего же ты все-таки баламут, Сашка!

ПОБЕГ

Где-то недалеко, видимо возле почты, диким голосом закричал петух, и Володя открыл глаза. От запаха сена в голове было прозрачно и пусто. Сквозь щели и дырочки от сучков струился веселый свет, который намекал на погожий день и еще на что-то очень-очень приятное. Володя поднялся, потер глаза и вышел на двор.

Утро еще как следует не расходилось. В низины сползала дымка, сонно перекликались редкие птицы, и летел ветерок — он был прохладен, и нежен, как кончики женских пальцев. Славно проснуться в такое утро, если ты молод, здоров и у тебя чистая совесть.

Относительно совести, правда, была заминка. Накануне Володя имел отвратительный разговор со своей бывшей подружкой, которая жила по соседству, в поселке Красные Богатыри. Они месяца три «ходили», и в результате подружка забеременела. Собственно, отвратительным разговор вышел потому, что подружка потребовала, чтобы Володя на ней женился; в противном случае она пригрозила пойти за справедливостью в сельсовет.

Судьба еще никогда не обходилась с Володей столь жестоко, и сначала ему было так тяжело, так окончательно тяжело, как если бы с этой ужасной новостью его жизнь совершенно пошла насмарку. Но главное, он представления не имел о том, что в таких случаях нужно делать, и поэтому думал, что его жизнь точно пошла

насмарку. Битых два дня он ломал себе голову, но не находил выхода из беды. И вдруг этот выход является ему во всей спасительной простоте: Володя решил бежать. Он решил бежать к своему двоюродному брату в город Котлас.

Выйдя на двор, Володя первым делом умылся из жестяного умывальника, приколоченного к березе; умываясь, он испуганно вздыхал, так как вода была холодна. Затем он сорвал с грядки два огурца, помыл их и кое-где поскреб пальцем, затем принес из дома большой ломоть хлеба, посыпанный крупной солью, кружку вчерашнего молока и сел завтракать на ветерке. За завтраком он думал о том, что если сама собой уладится его неприятность, то будет очень прекрасно; если же она не уладится, то где он, Володя Зайцев? Нету его, поминай как звали, ищи его от станции Чоп до острова Шикотан. То есть какое это, между прочим, преимущество, что Советский Союз большая страна!..

Потом Володя стал думать о предстоящей дороге. В районный центр, откуда начиналось настоящее сообщение, было два пути: грунтовым шоссе, которое по старой памяти еще называли «большак», и лесными тропами, то и дело впадающими в проселки. Большаком было дальше, но по нему четыре раза на дню проходил соседский молоковоз. Поскольку Володе не захотелось, чтобы о его бегстве узнали в самом начале от шофера молоковоза, хитрого, язвительного мужика, он выбрал лесные тропы, которые протянулись примерно на двое суток пути. Очень давно, когда еще была жива мамаша, Володя проделал с ней этот путь. Они ходили в район за отцовскими орденами. В памяти, впрочем, застрял только паро́м, то, что дорога показалась ему очень долгой, и еще что-то неуловимое, похожее скорее на запах.

Позавтракав, Володя стал собираться. В большой вещмешок он свалил костюм, три рубашки, большой кусок сала, завернутый в тряпку, буханку хлеба, несколько

огурцов и книгу «Обслуживание двигателей внутреннего сгорания». Потом он призадумался и на всякий случай доложил охотничий нож.

Когда, заперев избу, он вышел на улицу, был седьмой час утра. На деревне стояла мертвая тишина, так как народ в этот час был уже на работах, и Володе стало не по себе. То есть это ему оттого стало не по себе, что из-за какой-то блудницы он вынужден был прохлаждаться в самое горячее время. Все-таки крестьянское семя сидело в нем глубоко.

Пройдя всю деревню, Володя остановился у крайней избы, из окошек которой ломились комнатные цветы, и обернулся. Он сам не знал, что его заставило обернуться, точно какое-то тоскливое, прощальное чувство толкнуло под локоть, — он обернулся, и горечь ударила ему в нос.

За околицей, точнее, километрах в полутора за околицей, немного не доходя до сосновой рощи, издали похожей на низкую зеленую тучу, нужно было сворачивать влево: там тропинка спускалась к реке, вела через поваленную осину на другой берег, где было льняное поле, и потом исчезала в сумрачном корабельном лесу.

Дойдя до сосновой рощи, Володя свернул на эту тропинку, и его ботинки мгновенно набухли сыростью, так как роса еще не сошла. Тропа забрала круто вниз, вдруг солнечным блеском сверкнул поворот реки, и повеяло холодком. Потом тропу обступили рослые травы, тлетворно запахло сыростью и болиголовом, так что стало трудно, даже обморочно дышать. Вот и бревно. Подходы к нему затоптали коровы, и в черной грязи, в глубоких коровьих следах, застыла вонючая жижа, тронутая радужными налетами. Володя немного постоял, потом снял ботинки и ступил в грязь босым. Грязь захлюпала, зашипела; она была до того холодна, что у Володи заныли ноги. Но вот, наконец, бревно. Володя ступил на теплую, глянцевую кору, прошел по бревну до середины и сел сполоснуть ноги.

Речка была неподвижна. Вода стояла тёмно и тяжело, просвечиваемая солнцем у самой поверхности, и только по прошлогоднему березовому листу, чрезвычайно медленно надвигавшемуся на переправу, было заметно ее меланхолическое движение. Володя опустил ноги в воду, и стайка мальков вдруг порскнула от него. Порскнула и застыла, единогласно пошевеливая слюдяными хвостами, но от Володиных ног по воде пошла рябь, и рыбки пропали.

Сполоснув ноги, Володя не стал надевать ботинок; он связал их шнурками, перекинул через плечо и дальше пошел босым. Льном он шел с полчаса и все это время думал о том, до чего все-таки лен мучительная культура; потом он увидел деревенское стадо, пастуха Романовского, поселенца, и подумал: не подойти ли поговорить? Но тут ему припомнилось, что он беглец.

Лес начинался сразу, стеной. Когда Володя вошел в него, из глубины пахнуло прохладой и грибным духом, хотя по-настоящему до грибов было еще жить и жить. Отчего-то было так тихо, что его взяло беспокойство.

В лесу тропинка сделалась путаней, она то и дело обегала павшие стволы, рассыпавшиеся в труху и производившие пронзительный кислый запах, заросли бузины, отцветшей черемухи, дикой малины, а иногда раздваивалась в узкую колею, — видимо, из соседних деревень сюда ездили по дрова. Через некоторое время Володя замедлил шаг, так как ему пришло в голову прикинуть, в котором часу он завтра будет в районе. До района считалось не больше восьмидесяти километров; если делать по пяти километров в час, принять во внимание перекуры, ночлег, ожидание парома и непредвиденные обстоятельства, выходило, что в район он поспеет завтра к обеду. «Вот и ладно, — подумал Володя, — вот и хорошо», — и вдруг споткнулся о корень; из кармана вывалились сигареты. Володя начал их собирать, но, собрав и обдув труху, вдруг почувствовал, что устал. Тогда он

уселся на ближайшую кочку и закурил. Он затянулся, выпустил дым и услышал его шуршание — так было тихо.

Лес к этому времени посветлел, видимо, солнце было уже высоко. Яркие пятна света лежали уже на стволах, в основаниях крон и на шапках кустарника, давая глубокие, сине-зеленые тени. Ветра то ли не было, то ли он от слабости не долетал, и табачный дым, поднимавшийся у Володи над головой, некоторое время стоял столбом, потом причудливо разрушался, вытягивался в перистое облачко и медленно таял.

Выкурив сигарету, Володя вытер ноги пучком травы и принялся обуваться. Обулся... но вставать не хотелось, и потребовалось некоторое усилие, чтобы подняться и тронуться дальше. Штаны сзади подмокли — вот что было нехорошо.

Тропинка еще долго шла лесом и вдруг набежала на большое пространство, залитое ослепительным светом и богатое прелыми запахами: сделалось жарко и природа потела. Это была поляна почти необозримых размеров, ограниченная впереди низкой полоской нового леса; впрочем, он был так далеко, что не скажешь точно, лес это или приближающаяся гроза. Эту поляну, образовавшуюся после пожара 1972 года, жители окрестных деревень называли — гарь. Тут и там из высокой травы поднимались обугленные стволы, которые навевали тяжелое чувство. Володя подумал, что вот когда-то здесь стояли большие деревья, а нынче они в земле и давно перешли в густые заросли иван-чая, как-то по-лошадиному понурившего свои розово-фиолетовые цветы...

Жарко... В зарослях иван-чая сонно журчат кузнечики, и эти трели почему-то усиливают ощущение зноя. Все-таки очень жарко...

Володе захотелось пить, и он проглотил слюну. Он знал, что где-то за гарью в лесу был ручей. Он вообразил стеклянную, обжигающую струю и опять проглотил слюну — до ручья было как минимум час ходьбы. Тут

он увидел большую лужу, которую обрамляла широкая кромка ила, потрескавшегося на конусы и квадраты. Володя снял вещмешок, опустился на четвереньки и, опираясь на руки, припал к луже. Поскольку он поднял со дна целую бурю ила, пришлось дожидаться, пока ил уляжется и вода возвратится в прозрачное состояние. Прождав немного, Володя приник к поверхности и попил; вода была теплая и пахла илом. Напившись, он отстранился и плюнул в свое отражение. Прежде чем отправиться дальше, он намочил рубашку; когда он надевал ее на себя, у него было такое чувство, как будто он простудился.

Гарью он шел полтора часа. Уже высохла и сделалась словно накрахмаленной его рубашка, уже опять его распекло и стала донимать жажда, так что слюна не выплевывалась и не глоталась, когда он вступил в тот самый лес, который издали напоминал надвигавшуюся грозу. Это была дубрава. Оттого что здесь не росло подлеска и земля была покрыта густой травой, дубрава производила удивительно чистое впечатление, и Володя вошел в нее с таким чувством, с каким входят в дом. В траве дымились лесные фиалки, расположившиеся островками, от стволов парило горьким запахом дубовой коры, где-то приятно куковала кукушка, — словом, Володе здесь показалось очень гостеприимно.

Тропинка вскоре пошла на спуск, кое-где стала проглядывать темная земля, редко зеленевшая заячьей капустой, и пахнуло прохладой: видимо, был близок ручей. Действительно, шагов через пятьдесят Володя различил приветливый, струящийся звук и вышел к ручью, который тек по дну лесной балки, заросшей кустиками и осокой. Из-под ног выпрыгнула лягушка и тяжело плюхнулась в воду. Володя вздрогнул...

— Вот сволочь!.. — сказал он с испугу и замахнулся.

Пить ему неожиданно расхотелось. Он присел на корточки и закурил сигарету. В голове было пусто, хорошо,

по телу пошла истома, а тут еще дубы монотонно разговаривают над головой, и этот разговор навевает сонное оцепенение, — дай ему маленькую поблажку, и самовольно сомкнутся веки.

Вдруг где-то неподалеку зашуршала листва, потом по земле прошел стук, и к ручью, метрах в пятидесяти ниже того места, где Володя устроился покурить, вышел огромный лось. Володя оторопел. Лось тоже смешался; он высоко поднял голову и долго смотрел на Володю, как бы угадывая, что он за человек и нужно ли его опасаться. Прежде Володя видел лосей только издалека и, увидев вблизи, поразился тому, какая это красивая и могущественная скотина. Лось между тем стал понемногу наклонять голову, косо поглядывая на Володю, но потом перестал косить и приник к воде. Он пил, растопырив ноги, тонкие и длинные, как у малярийного комара, и мелко подергивал кожей на животе, — видимо, его замучила жажда, и питье доставляло ему удовольствие. «Ниже пришел попить, — подумал Володя, — скажи на милость, культурный какой, уважение оказывает...» Он подумал это и тоже решил напиться, но так, за компанию. «Давай, сохатый, вместе попьем, — мысленно говорил Володя, черпая воду пригоршней. — Попьем согласно закону водопоя: мир всем».

Когда лось напился, он, не поглядев на Володю, пошел в свою сторону, наводя шум листвы и земляной стук, которые стихали, стихали и скоро окончательно стихли, так что опять стало слышно журчание ручейка. Тогда Володя достал нож, буханку хлеба и огурец. Он отхватил горбушку, потом разрезал вдоль огурец, посолил, потер половинки и принялся есть, изредка запивая еду пригоршнями воды. Огурец показался ему очень вкусным, он распространил у него во рту ощущение свежести и майский запах.

После еды Володя выкурил еще одну сигарету, потом перепрыгнул через ручей и стал подниматься по проти-

воположному склону балки. Когда он взобрался на ее гребень, то увидел, что сквозь редкую изгородь дубовых стволов явно виднеется блеклая желтизна — должно быть, это начиналось хлебное поле; за полем же было небо и ничего кроме неба, очевидно, дубрава занимала возвышенность и с ее опушки открывалась широкая перспектива. Предчувствие перспективы, которая вообще волнует, и тем сильнее, что непонятно, отчего происходит это волнение, навеяло Володе странное чувство. Начитанные люди в таких случаях припоминают из Гоголя: «Русь, куда же несешься ты? дай ответ. Не дает ответа», — или декламируют патриотические стихи. Весьма возможно, что и Володя прочитал бы теперь какие-нибудь стихи, но он не помнил наизусть ни одной стихотворной строчки.

Дубрава кончилась. Последний, одинокий дуб, стоявший дозорным далеко впереди своей братии, многозначительно прошел мимо Володи, шевеля листвой, которая отдавала в благородное серебро. Сразу за этим дубом открывался простор, тот самый великолепный отечественный простор, какой вселяет в нас хорошее беспокойство. Володя остановился. Несколько ниже того места, где Володя остановился, начиналось пшеничное поле, за ним шел курчавый лес, потом двугривенник далекого озера, над которым повисла туча, за озером опять лес, ступеньками поднимавшийся в гору, а дальше виднелось одно курящееся пространство, какое-то магическое пространство, — казалось, что если хорошенько навострить глаз, то можно будет увидеть и район, и город Арзамас, и Москву...

Володя немного постоял впереди одинокого дуба и пошел пшеницей, в которой было сине от васильков и попптичьи свистели суслики. Когда поле кончилось, он опять вошел в лес; здесь пахло тлением. Тропинка неожиданно раздвоилась и превратилась в дорогу, между колеями которой густо росла трава. Лес был сырой, ви-

димо заболоченный, и по левой обочине шли акварельные сыроежки, а по правой — кустики голубики. Вообще место было глухое. Даже дорога, которая, кажется, должна была свидетельствовать о противном, заброшенным своим видом именно указывала на то, что место было глухое. Володя подумал: как бы не заночевать в этом лесу, нехорошо было бы заночевать в этом лесу, сыро, неспокойно, — словом, нехорошо. Между тем дневной свет стал понемногу блекнуть, и, хотя до сумерек было еще далеко, небо уже пожухло, на лес легли покойные солнечные тона, отдававшие дремотой, тени сделались жиже, то есть все вокруг говорило о том, что вот еще один день оттрубил в свою жизнерадостную трубу.

Внезапно Володя остановился. Метрах в пятидесяти от него на пне сидел человек. Он сидел, сложив на коленях руки, и смотрел в землю. Володя почувствовал беспокойство, а впрочем, любой на его месте почувствовал бы беспокойство, поскольку это странно — повстречать человека в глухом лесу. Странно, во-первых, потому, что за целый день одиночества волей-неволей настроишься на космическое одиночество и, встретив еще одного человека, в первое мгновение остолбенеешь; во-вторых, непонятно, что могло занести этого человека в лес, да еще в такой час, и может ли это быть, чтобы добрый человек встретился в лесу на ночь глядя. Впрочем, у этого беспокойства всегда бывает положительный контрапункт — в тревожное время на краю света все же хорошо повстречать подобное существо, есть в этом что-то поддерживающее, разделенное.

Незнакомец тихо сидел на пне, вероятно, он еще не заметил Володю. На нем была соломенная шляпа, низко надвинутая на глаза, но все остальное обличало деревенского человека. Володя придал твердость шагу и, немного не доходя, сказал громким голосом:

— Здорово, дядя!

Человек не только ничего не ответил, но даже не

обернулся. Это Володю насторожило, но когда он подошел совсем близко и уже собрался повторить сказанные слова, он увидел, что принятое им за сидящего человека было обломком березового ствола, похожим на сидящего человека. Хотя на человека все-таки было не очень похоже, и Володя стал думать, как это он так обмишурился. Он подумал, что во всем виноваты сумерки.

Действительно, сумерки уже совершились. Видимость помутнела, цвета исчезли, и только кустики куриной слепоты бледно светились в лесных потемках. Было тихо, но это была какая-то ожидательная тишина, наверное, скоро запоет соловей. Володя поднял голову: на небе горела одна звезда, она висела над западным краем небесной сферы, где еще дотлевал закат, и свет ее казался особенно чистым, каким-то хрустальным. Нужно было устраиваться ночевать.

Володя нашел удобное место возле высокой ели, добыл из мешка охотничий нож, нарубил лап, застелил ими пятачок земли, над которым нависла крона, положил в головах вещмешок и стал собирать валежник. Когда у него набралась целая копенка, он сложил из еловых веток маленький сруб и чиркнул спичкой. Сначала из-под веток потянулся дым, потом пробилось мелкое пламя, и вскоре огонь затрещал, разбрасывая созвездия красных искр. Вот уже пошел жар, и ель, под которой Володя постелил себе на ночь, до самой верхушки осветилась зловещим, багровым светом.

Разведя огонь, Володя стал ужинать хлебом и огурцами. Он громко хрустел, сопел, и звуки эти далеко разлетались в ночном лесу. После ужина ему стало скучно. Он вытащил книгу «Обслуживание дизельных двигателей» и попробовал почитать.

«В целях повышения надежности в работе всего агрегата следует систематически проверять установку момента зажигания. Для этого коленчатый вал устанавливается пусковой рукояткой в такое положение, при ко-

тором бегунок ротора своим контактом будет направлен в сторону контакта первого цилиндра...» — нет, не читается... Володя захлопнул книжку. Где-то далеко нехорошим голосом прокричал филин. Потом два раза принимался петь соловей, но как-то лениво, как бы сказал Володя — «без огонька». Володя еще с полчаса посидел возле костра, задумчиво глядя на догоравшие головешки, и пошел спать под ель.

Спалось ему крепко, и он не видел никаких снов; ему вообще никогда ничего не снилось. Но под утро, когда лес уже посерел, стал накрапывать мелкий дождь, и его сон сделался беспокоен: во сне он ежился и вздыхал. Постепенно ель стала пропускать сквозь лапы теплую влагу, и на Володю отовсюду закапало; он проснулся и сел.

День рождался как будто нехотя, по обязанности. Моросил дождик, между деревьев висел туман, трава дымилась, пронзительно пахло хвоей, все вокруг было невзрачного шинельного цвета, и Володе сделалось до того неприютно, нехорошо, что хоть плачь. Вдобавок оказалось, что он спал на муравейнике: в примятых его телом еловых лапах, в рубашке, на вещмешке копошились тысячи муравьев, и пришлось, несмотря на утренний холод, раздеться и долго вытряхивать из себя насекомых. Странно было, что муравьи его ночью не покусали. Володя подумал, что, может быть, это в благодарность за теплое и сухое убежище, и это предположение вдруг так его поразило, что он задержался под елью, изучая муравьиное бытие. Наблюдения привели его в еще большее замешательство. За всю свою прежнюю жизнь он ни разу не удосужился присмотреться к этому загадочному существу, и не было ничего удивительного в том, что теперешние наблюдения навели его на разные мысли. Володя смотрел на озабоченное передвижение муравьиных артелей, с первого взгляда похожее на смятение, а на самом деле в высшей степени упорядоченное

и подразумевающее какую-то значительную идею, и думал о том, что это даже удивительно, как мирно и согласно делаются у муравьев их таинственные дела. Что при этом всяк знает свое место и направление, никто не сачкует и не понукает других, что, видимо, дети у них рождаются таким образом, что при этом не бывает никаких неприятностей; вообще, вероятно, люди заблуждаются на тот счет, что они венец мироздания. Обидно только, что такое организованное бытие имеет конечной целью всего-навсего продолжение рода; тут наш брат человек, конечно, дает муравью двести очков вперед.

На прощание Володя подцепил одного муравья, посадил его на ладонь и пристально рассмотрел. Внешность его вызвала все-таки антипатию.

За несколько часов дождя дорога размокла в темно-коричневую грязь, и идти по ней было трудно. Грязь налипала на ботинки широким рантом, делая их непереносимо тяжелыми, и не прошел Володя двух километров, как вспотел и почувствовал, что устал. Но вдруг где-то в вышине сквозь побледневшие облака проглянуло клубящееся солнце, и сразу жемчужным сиянием окрасились и деревья, и трава, и лужи. Дождь перестал, и от дороги пошел подниматься пар. Поскольку солнечное сияние волшебным образом действует на человека, Володя сразу повеселел. Тут дорога поворотила направо, и он увидел избу.

Изба стояла метрах в пятидесяти от дороги. Вид ее был заброшенный, нежилой: левый бок несколько завалился, оконные ставни висели, соломенная крыша в нескольких местах прохудилась и зияла черными дырами, сквозь крыльцо проросла крапива. Володя свернул с дороги, подошел к избушке и замер. Какое-то древнее, беспокоящее воспоминание пахнуло на него знакомыми запахами, и он подумал, что эта изба, наверное, запала в память, когда очень давно он проходил здесь с мама-

шей. Володя вступил на крыльцо, которое жалостно заскрипело, и взялся пальцами за скобу.

— Куда ты прешь, спрашивается? — вдруг услышал он, воздрогнул и обернулся.

Перед ним стояла старуха. На ней была длинная черная юбка, телогрейка без рукавов и черный платок, из-под которого выбивалась жидкая седина. Володя смотрел на старуху, пока из него не ушла оторопь, а потом сказал:

— Ты, что ли, здесь живешь, бабка?

— А вот и живу, — сказала старуха и мимо Володи прошла в избу, оставив открытой дверь, что можно было принять за приглашение; Володя кашлянул и вошел.

В сенях было темно, и сначала Володя ничего не увидел, но, когда темнота начала рассеиваться, он увидел обыкновенные сени, где стояла пустая кадка, ведро с черпаком и большой сундук. Пахло затхло. Осмотревшись, Володя толкнул дверь в горницу и опять осмотрелся. Горница, против всякого ожидания, имела опрятный вид. Большую ее половину занимала деревянная кровать с высокими резными спинками. Она была не крестьянской наружности и странно как оказалась в этой глухой избе. Застелена кровать была аккуратно, но удивительное дело — белье было черным. Володе захотелось спросить, почему белье черное, но старухи нигде не было. Володя опешил.

— Бабка, ты где? — сказал он тихо.

— Тут я, — донесся старухин голос, то ли из печки, то ли из-под кровати.

Володю охватило нехорошее чувство.

— Да тут я, тут, ослеп ты, что ли? — снова послышался ее голос.

Володя обернулся на звук и действительно увидел старуху, которая сидела возле своей кровати. Между ними существовало какое-то поразительное сходство; видимо, их соединял возраст, а может быть, одинаковые

цвета постели и платья, но только их обоюдная прилагательность была поразительна.

— Ты, бабка, прямо хамелеон, — сказал Володя, — с трезвых глаз и то тебя не разглядишь...

— Какая есть, вся тут, — сказала старуха и странно надула щеки, видимо, она так сердилась.

— Я чего хотел у тебя спросить... Почему белье у тебя черное? Это для меня прямо загадка.

— Старая я такую ораву белья стирать. Мне, наверное, лет сто. Потому и черное...

Поскольку после этих слов старуха как-то основательно замолчала, Володя помялся у порога, потом снял ботинки и босиком прошел к маленькому столу, накрытому черной скатертью. Он сел за стол и стал дожидаться, когда старуха заговорит. Володе хотелось еще спросить, почему старуха живет одна, что она делает тут в лесу, не страшно ли ей, но молчание старухи было недружелюбно, и Володя спрашивать не решался. Промолчали минут пятнадцать.

— А ты, я гляжу, не мастерица поговорить, — сказал Володя и пошел надевать ботинки. — Ты, часом, не ведьма?

Старуха отвернулась и стала смотреть в окно.

Володя отошел уже порядочно от избы, когда старуха его окликнула.

— А я тебя помню, — сердито сказала она. — Ты недавно в этих местах с девушкой проходил, матерь тебе, должно... Как ты был балбес, так балбес и остался.

«Ничего себе — недавно...» — подумал Володя и прибавил шагу.

Километрах в трех за избой лес стал редеть, пошла строевая сосна с медными стволами, и Володю взбодрил ее очищающий аромат. Потом стало ветрено. Теплые струи прошлись по вершинам сосен, заставляя их раскачиваться из стороны в сторону и производить сердитый, нетрезвый шум.

Лес обрывался внезапно, крайние сосны частоколом стояли по высокому обрывистому берегу довольно широкой реки Снохи. Воды ее были темны и навевали ощущение холода. Дорога круто спускалась вниз, прорезая ущелье в глинистом грунте и обнажая корни ближайших сосен, которые висели большими бледными червяками. Внизу, на отмели, был причал, от которого к противоположному берегу протянулся трос — это паром. Собственно, паром находился на том берегу, и его предстояло ждать. Володя осмотрелся: направо, километрах в двух, стояла большая деревня. Виднелись красные и зеленые крыши, над ними — мирные мельхиоровые дымки, где-то ослепительно белел сруб, и его цвет навевал запах смолистой стружки. Видимо, оттого, что тихий свет дня позволил всем цветам вылезти на глаза, вид казался богатым ими необыкновенно. Противоположный берег с заливными лугами давал майскую зелень, в том месте, где вдоль берега протянулась широкая полоса кустов — вишневое, брусничное и серебро, потом шел холодный цвет вод, потом речной песок цвета французской горчицы, — словом, удивительно, как много вылезло разных красок.

Володя спустился к причалу дожидаться парома и, чтобы скоротать время, взялся за огурец. Огурец оказался горький, но он все же его доел.

Причалил паром. Народ прошел по мосткам на берег и стал подниматься в гору, потом проехал автомобиль, тоже поднялся в гору, и берег опять опустел.

— Поплыли, что ли? — сказал Володе паромщик, однорукий мужик.

Володя поднялся и медленно взошел на паром.

— Ну, так вот, — сказал паромщик и подмигнул, — поскольку не было у него другого средства доказать общественности, что он отнюдь не крал запчастей, то есть он крал, но нужно было доказать, что будто не крал... — В этом месте паромщик прервался и стал от-

талкиваться от причала. — Так вот, нужно было доказать обратную теорему, как будто он запчастей не крал,— продолжил паромщик, берясь, за деревянный рычаг и начиная сообщать парому поступательное движение, — хотя зачем ему это понадобилось, не пойму, сажать его ни у кого в мыслях не было; наверное, характер такой. Ладно... Теперь следующий вопрос: как ты себя докажешь, когда тебе, положим, никакой веры не дают? Я бы, к примеру, тут спасовал, я бы лучше деньгами. Но этот мужик невероятный был прохиндей — придумал, как взять дирекцию за живое. Приходит в контору и говорит: «Не могу жить под бременем такого тяжкого обвинения, кончаю жизнь самоубийством, прощайте». Над ним посмеялись, конечно, потому что считали его за пустякового человека. Но только на другой день приходит он с приятелями в контору, в кармане веревка торчит, конечно, а договор у них был такой: он в уборной натурально повесится, но они его немедленно вытащат из петли и поднимут шум, вот, дескать, до какого состояния довели человека. Ладно, этот идет в уборную, приятели закуривают. Пока он прилаживал веревку, петлю вязал и все такое, приятели серьезно разговорились. Не идут и не идут. А когда опомнились, уже поздно было...

В эту минуту паром ударился о причал, однорукий паромщик налег на рычаг, чтобы паром не дал обратного хода, а Володя почувствовал, что ему непреодолимо хочется выпить. Ему так захотелось выпить, что он даже несколько захмелел.

— Или они зло на него держали? — неожиданно добавил паромщик, глядя на Володю тяжелым взглядом.

— Слушай, дядя, выпьешь со мной на помин души? — сказал Володя и плюнул в воду.

— Нет, я это игнорирую, — ответил паромщик, посмотрел на другой берег и вдруг закричал: — Перерыв на обед!

Идти теперь оставалось совсем немного. В километре

за переправой была деревня, за ней большое село Кресты, а за селом путепровод, с которого уже виден районный центр. Жаль, что вчерашний расчет быть там к обеду не оправдался, собирались сумерки. Они наваливались, наваливались и создавали иллюзию постепенной потери зрения. Но вот уже впереди засветились ранние огоньки — это деревня. Здесь проселочная дорога взяла левее, и деревню Володя обошел стороной. До него долетели голоса и печальный звук гармони.

Часам к девяти Володя пришел в Кресты. Дома в темноте чернели плоскими силуэтами, по улице в обнимку прогуливались тени, возле клуба курили мальчишки, и темные искорки их сигарет светились враждебно.

Сразу за селом был путепровод. Володя взошел на него и остановился. Уже заступила ночь. Внизу лежал город, который горел множеством желтых огней, и это было похоже на то, как если бы все перевернулось вверх дном и небо легло на землю огромной звездной чашей. Огни показались Володе чужими и неприветливыми. Что-то тяжелое заворочалось у него на душе, и он подумал, что вот начинается какая-то новая жизнь, сулящая различные малоприятные происшествия, но зато в этой жизни ему встретится много новых людей, с которыми все-таки не так скучно.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Вячеслав Алексеевич Пьецух
АЛФАВИТ

М., «Советский писатель, 1983, 232 стр.
План выпуска 1983 г. № 82
Редактор *А. А. Гангнус.* Худож. редактор *Е. Ф. Капустин.* Техн. редактор *Ю. Н. Чистякова.* Корректор *Г. И. Ольвовская*

ИБ № 3255

Сдано в набор 15.06.82. Подписано к печати 17.02.83. А04013. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 10,15. Уч.-изд. л. 10,46. Тираж 30 000. Заказ № 9161. Цена 70 коп. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Типография издательства «Коммунист», 410002, г. Саратов, ул. Волжская, 28.

70 к.

Советский писатель

